

13/10
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИИ
МИХАИЛА СИВАЧЕВА.

Т.

І.

„ПРОКРУСТОВО
ЛОЖЕ“

24/10/15.

К-ВО «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ. МОСКВА.

АВГУСТЪ СТРИНДБЕРГЪ.

Полное собрание сочинений. 15 томовъ.

Томъ	Цѣна.
1 Исповѣдь глупца. Ром. 3-е изд.	1.—
2 Адъ. Романъ. Съ предислов. В. М. Фриче. 2-е изданіе...	1.—
3 На шхерахъ. Ром. 2-е изд.	1.—
4 Утопія въ действительности. Новеллы. 2-е изданіе.....	1.—
5 Красная комната. Очерки изъ жизни художн. и писателей.	1.25
6 Чандала. Романъ.....	1.—
7 Готическія комнаты. Романъ. 2-е изданіе.....	1.—
8 Сынъ служанки. Ром. 2-е изд.	1.60
9 Историческія драмы.....	1.25
10 Трагикомедія брана. 2-е изд.	1.25
11 Романтичный пономарь.....	1.—
12 Разрывъ. Повѣсти.....	1.—
13 1) Легенды 2) Графиня Юлія... Развитие одной души. Романъ	1.25
14 Мастеръ Улофъ. Драма.	
15 Пляска Смерти. Одиночество. Самумъ. Отецъ (печ.).	
16 Черныя знамена. Ром. (печ.).	

Изъ отзывовъ печати.

„Переводъ произведений Стриндберга, несомненно, обогатитъ русскихъ читателей знакомствомъ съ яркимъ и своеобразнымъ талантомъ. Стриндбергъ всегда силенъ и оригиналенъ. Неподдѣльный блескъ его дарованія, чуждаго модныхъ уловокъ и разсчитанныхъ эффектовъ, привлекаетъ даже тогда, когда читатель, подавленный тяжелыми картинами патологической психологіи, чувствуетъ непреодолимую потребность вырваться изъ тѣсныхъ стѣнъ мизантропическаго міросозерцанія автора.“

„О в р. М і р ъ“.

ГУСТАВЪ афъ-ГЕЙЕРСТАМЪ.

Полное собрание сочинений. 10 томовъ.

Томъ	Цѣна.
1 Комедія брана. Романъ. 3-е изд. Съ вступительной статьей Ю. А. Веселовскаго.....	1.—
2 Роковыя силы. Романъ.....	1.25
3 Голова медузы. Романъ.....	1.—
4 1) Вѣчная загадка. 2) Маленькій Свенъ. Два романа.....	1.25
5 Власть женщины. Романъ.....	1.—
6 Трагедія одной жизни. Романъ.	1.—
7 Мать и сынъ. Романъ.....	1.—
8, 9, и 10 (печ.).	

Изъ отзывовъ печати.

„Это одинъ изъ самыхъ яркихъ, пронзительныхъ“

ЖОРЖЪ ЭКОУТЪ.

Полное собрание сочинений. 5 томовъ. Перев. съ француз., разрѣшен. авторомъ.

Томъ	Цѣна.
1 Изъ міра „Бывшихъ людей“.	
2 Романъ.....	1.—
3 Намѣда любви. Романъ.....	1.—
4 Защитникъ бездомныхъ. (печ.).	

Изъ отзывовъ печати.

„Жоржа Экоута я охотно называю бы бельгійскимъ Горькимъ, настолько онъ рѣзокъ и мучительно правдивъ въ своихъ разсказахъ.“

Иванъ Жильевъ.

БЪЕРНСТЪЕРНЕ-БЪЕРНСОНЪ.

Собрание сочинений. 7 томовъ.

Томъ	Цѣна.
1 1) Сюжетъ Сольбакенъ. (Пов.). 2) Когда цвѣтетъ молодой виноградъ. (Комедія).....	1.—
2 1) Одинъ день. 2) Волосы Авесалома. 3) Перчатка.....	1.—
3 Рыбачья. Романъ.....	1.—
4 Новобрачи. Леонарда Арне (печ.).	—

Изъ отзывовъ печати.

„Для русскаго образованнаго общества Бьерксонъ особенно интересенъ своими положительными типами, т.-е., какъ развѣтъ, чего у насъ нѣтъ. Тѣмъ, чего наши даже самые выдающіеся писатели никакъ не могутъ создать, несмотря на всѣ свои старанія.“

Д. Городецкий. (Р. Ол.).

ТОМАСЪ ГАРДИ.

Полное собрание сочинений.

Томъ	Цѣна.
1 Настоящая женщина. Романъ часть I-я.....	1.25
2 Настоящая женщина. Романъ часть II-я (печ.).....	1.25

ТОМАСЪ МАННЪ.

Полное собрание сочинений. 5 томовъ.

Томъ	Цѣна.
1 Флоренца. Фридеманъ Намѣда счастья.....	1.—
2 Новеллы.....	1.—
3 Семейство Будденброокъ. Ром.	1.25
4 Паденіе одной семьи. Романъ..	1.25

Изъ отзывовъ печати.



04 9667
20/2 МИХАИЛЬ СИВАЧЕВЪ.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „СОВРЕМЕННЫЯ ПРОБЛЕМЫ“.
МОСКВА—1911.

985
(64 / 28) МИХАИЛЬ СИВАЧЕВЪ.

„ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ“.

(Записки литературного Макара).

КНИГА ПЕРВАЯ.

С 343



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „СОВРЕМЕННЫЯ ПРОБЛЕМЫ“.
МОСКВА—1911.



ОТЪ АВТОРА.

Знаю, что большинство людей, это люди — умѣющие спокойно, даже съ улыбкой, съ пожатіемъ плечъ проходить мимо самыхъ страшныхъ явленій, людей обладающихъ «похвальными» качествами ни передъ чѣмъ ни останавливаться, ни содрогаться — и не къ такимъ обращены мои записки.

Имѣю въ виду читателя изъ тѣхъ, который «имѣетъ уши слышать, да слышать». Такого читателя я приглашаю заглянуть, что за пропасть отдѣляетъ человека изъ народа отъ интеллигенціи: шесть лѣтъ я убилъ на попытки перекинуть черезъ эту пропасть мостикъ — и не могъ.

Шесть лѣтъ я смотрѣлъ на людей, олицетворяющихъ собой лучшій цвѣтъ современной культуры, смотрѣлъ, расплачиваясь за такую «честь» муками выше человѣческихъ силъ, смотрѣлъ и, въ конечномъ счетѣ, пришелъ къ заключенію, что весь этотъ «лучшій цвѣтъ» за *страшно рѣдкими* исключеніями — *банкроты духа!*

Многое въ моихъ запискахъ съ перваго взгляда

покажется иногда, слишкомъ зло слишкомъ односторонне; но, милый читатель «изъ слышащихъ» когда вамъ такъ будетъ казаться, пытайтесь вообразить себя «въ моей шкурѣ», суммируйте мои переживания и мои положенія, памятуя о томъ, что капля переполняетъ чашу.

И считайте эти капли—сколько ихъ?

Прошу объ этомъ не для того, чтобы искать къ себѣ сочувствія; знаю горькую истину, что когда сочувствіе *слишкомъ запаздываетъ*, оно рождаетъ ненависть и злобу, а когда и отъ этихъ чувствъ человекъ устанетъ, оно даетъ только горечь, ибо такое сочувствіе не вернетъ человеку его утратъ, не вернетъ его къ тому, что онъ въ себѣ имѣлъ, не вознаградитъ его за пережитый ужасъ.

Нѣтъ, я прошу считать эти капли для иной цѣли. И если, считая, будете отъ этихъ капель задыхаться—не обманывайте себя тѣмъ, что это, молъ, случилось только съ однимъ.

У насъ есть такія громкія слова, какъ «культура», «общественность» но...

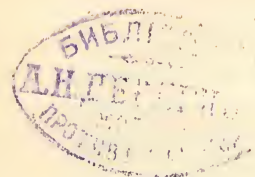
Объ этомъ «но» я и хочу рассказать, ибо его переживали и будутъ переживать сотни и тысячи изъ тѣхъ, кто вынужденъ искать куска хлѣба, кто безъ борьбы не желаетъ поступиться своимъ правомъ на жизнь.

Какой «хлѣбъ» и какую «жизнь» дастъ имъ такая культура и общественность — объ этомъ пусть говорятъ мои записки.

Первоначально я началъ было выпускать свои записки, называя въ нихъ всѣхъ полными именами. Но потомъ я получилъ отъ одного, глубоко уважаемаго мной человека, совѣтъ, «исключить изъ записокъ все очень личное, все, что можетъ быть воспринято, какъ выраженіе *личной* злобы къ лицу». Я принялъ этотъ совѣтъ и всѣ лица въ моихъ запискахъ пройдутъ или подъ вымышленными именами, или подъ инициалами, которыя даже не всегда точно будутъ обозначать начальныхъ буквъ настоящей фамилии того или другого лица.

Исключеніе будетъ для одного только М. Горькаго; но его скрыть нельзя и по техническимъ условіямъ, — слишкомъ большую роль онъ сыгралъ въ моихъ запискахъ, и слишкомъ крупно его имя, чтобы всякій его не могъ узнать.

Не нахожу такъ же и особыхъ причинъ, ради которыхъ его можно было бы скрыть: Горькій для меня «большой корабль», а большому кораблю и *большое плаваніе*.



1904 годъ.

Вотъ оно одно изъ наибольшихъ самопрокля-
тій человѣчества: Капиталь!

Къ 24 годамъ онъ изъ меня высосалъ все,
что можно высосать, и выбросилъ изъ сферы
труда вонъ, какъ негодную, вполнѣ исполнив-
шую свое назначеніе ветошь!

Пошелъ я въ больницу—не приняли:

— У насъ не богадѣльня. Займете только
мѣсто. Поѣзжайте въ Крымъ на грязи—тамъ
такой ревматизмъ можно вылечить. Поняли?

Я понималъ, что врачъ не изъ умныхъ людей:
знать, что больной изъ рабочаго класса, видѣть,
что онъ крайне бѣдно одѣтъ и посылать въ
Крымъ?!

Вмѣсто Крыма я отправился на родину. При-
былъ и поселился въ наслѣдственномъ домѣ,
дающимъ въ мѣсяцъ 12 рублей дохода.

Измученный дорогой, придавленный сознаниемъ,
что моя пѣсня спѣта, я въ первые дни отнесся
къ своему положенію съ чувствомъ огромнаго
облегченія—много спалъ, просыпался и, лежа
съ закрытыми глазами, думалъ:

— Ну, что же... Плохо, бѣдно, но жить есть
на что. Свой уголь—есть гдѣ умереть. Многимъ
приходится доживать свой вѣкъ хуже.

Но, прошла недѣля, другая—я глубже взгля-
нулъ въ свое положеніе и ужаснулся.

Однообразно и тяжело-томительно тянулись
дни моего прозябанія.

Стояла скверная, дождливая осень. Вдовая
сестра, поселившаяся со мной, вставала рано
утромъ и уходила на работу. Иногда не прихо-
дила ночевать домой по два—три дня.

— За день-то умаешься, а путь до дому
не-близкій.

Три раза въ день навертывалась баба, жена
квартиранта, готовившая мнѣ обѣдъ и самоваръ.
Въ недѣлю, въ двѣ недѣли разъ бывали у меня
два брата, приходившіе исключительно затѣмъ,
чтобы поглумиться надъ моимъ несчастіемъ.

Моимъ убѣжищемъ была маленькая избенка,
уныло пучившая окна въ небольшой и чухлый
садъ. При жизни отца онъ былъ цвѣтушимъ,
красивымъ уголкомъ; послѣ его смерти—забро-
шенный, медленно погибалъ,

По пѣлымъ днямъ я просиживалъ у окна,
страдающій отъ мысли, что необъятность міра
для меня ограничена только взглядомъ изъ этого
окна, — на небольшой, бесплодный кусокъ
земли.

Подъ конецъ осени со мной стало твориться
уже нѣчто неладное. Наблюдая, какъ вѣтеръ

рветъ и треплетъ засыхающія и уже засохшія деревья, я тихо-тихо говорю:

— Да, братъ, погибаемъ мы. Плохо намъ.

Я говорилъ—усиліемъ волн подавляя въ себѣ внезапныя приливы крика или хохота.

Все чаще и чаще бывали бессонныя ночи. Мучаясь отъ ревматическихъ болей, я съ нетерпѣніемъ ждалъ, когда тусклый осенній разсвѣтъ кинетъ заглянуть въ окна. Вставалъ и торопливо, точно сейчасъ увижу дорогаго человѣка, съ которымъ можно подѣлиться своимъ несчастіемъ, ковылалъ къ окну

— Что же, братъ, а? Вѣдь, такъ невозможно. Гибнемъ мы, но когда конецъ? А если такъ будемъ чаврить еще пять-десять лѣтъ? а?

Все еще одѣтый дымкой осенней мглы, садъ стоялъ безконечно печальный. И казалось, что ему холодно, что и онъ такъ же раздавленъ, какъ я, и недоумѣваетъ: въ самомъ дѣлѣ, когда же?

Прошла осень. Наступила зима. Ревматизмъ меня немного пріотпустилъ. Свое жилище я отоплялъ усердно, но бесполезно: все выдувало... По цѣлымъ днямъ я валялся въ постели, кутаясь во все, чѣмъ можно согрѣться, и то съ тупой ненавистью смотрѣлъ на одинъ болѣе другихъ раздавшійся уголъ избенки, изъ котораго торчали, опущенные снѣгомъ, куски льда, то былъ захваченъ остро-волнующимъ раздумьемъ. Я жить неподавимой тоской по образу чело-

вѣка,—по тому образу, что въ лицѣ человѣка встрѣтилъ въ жизни однажды; обстоятельства съ этимъ человѣкомъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ знакомства заставили насъ утерять другъ-друга изъ вида, но врѣзался этотъ человѣкъ въ меня, какъ фактъ, что не напрасно въ нашей душѣ живутъ стремленія къ прекрасному.

Я припоминалъ этого человѣка, я переживалъ мельчайшія подробности нашихъ встрѣчъ и бесѣдъ, я учитывалъ, сколько скитаній по городамъ и весямъ Руси понадобилось, пока я столкнулся съ этимъ человѣкомъ—я слишкомъ дорого заплатилъ за счастье встрѣтить «пояноту личности» и нераскаивался.

Съ юныхъ лѣтъ я носилъ въ себѣ наклонности: жить не тѣмъ, что меня окружаетъ, а тѣмъ, что внѣ черты этой жизни. Отсюда, когда я выучился зарабатывать кусокъ хлѣба, начались мои метанія: болѣе пяти-шести мѣсяцевъ я не жилъ ни въ одномъ городѣ.

Я пылливо вглядывался въ перемѣну мѣста, въ новыхъ людей и, когда убѣждался, что перемѣна мѣста есть, а новыхъ людей нѣтъ, что н тутъ все та же жалкая, несчастная жизнь, отъ которой я бѣгу изъ города въ городъ—тогда я не въ силахъ былъ оставаться и бѣжалъ, что называется «куда глаза глядятъ».

Эти скитанія были источникомъ мучительныхъ раздумій. Я пытался убить ихъ въ себѣ фразой:

«тамъ хорошо, гдѣ насъ нѣтъ» — тѣмъ, что вездѣ мнѣ говорила дѣйствительность. Но такъ до самой болѣзни съ мыслью, гдѣ-нибудь оцѣлѣть прочно, не примирился. Болѣзнь приковала меня къ одному городу на годъ: работалъ въ одномъ хорошемъ заводѣ, гдѣ больного рабочаго не выкидываютъ, а даютъ возможность поправить пошатнувшееся здоровье. Тутъ я встрѣтился съ этимъ человѣкомъ, тутъ «административное усмотрѣніе» разбросило насъ въ разныя стороны, заставило утратить другъ-друга изъ вида.

Я снова было устроился на мѣсто, гдѣ могъ долечиться, но тоска, тоска страдающая по человѣку, тоска которая не въ силахъ переносить лишь людшекъ, снова бросила меня на путь скитаній.

Я сознавалъ, что иду къ гибели, что болѣзнь принимая хроническую форму лишитъ меня возможности существовать — и все такъ метался изъ города въ городъ:

— Можетъ быть, я еще встрѣчу такого человѣка!

Но такую я еще не встрѣтилъ, а къ положенію выброшеннаго изъ жизни пришелъ. И не раскаявался, что такой цѣной въ страшно-безотрадной дѣйствительности я купилъ возможность видѣть одну только «жемчужину дѣйствительности». Я упивался этой жемчужиной и всѣмъ чающимъ высшей красоты въ подобномъ себѣ — мнѣ хотѣлось кричать изъ стѣнъ своей жалкой избенки:

— О, лепѣйте, лепѣйте золотыя грезы своей души! Пусть онѣ смутны, пусть вы не чувствуете въ дѣйствительности отдаленнаго подобія своихъ грезъ, но вѣрьте, постоянно вѣрьте, что онѣ есть, существуютъ. Лепѣйте золотыя грезы своей души, ибо только неустанно вѣрующему и ищущему можетъ выпасть великое счастье: увидѣть то, о чемъ смутно грезилъ, въ образѣ человѣка!

Я упивался и это упоеніе толкало меня на несообразности. Я забывалъ, что изъ тьмы видѣнныхъ лицъ, я только въ одномъ лицѣ видѣлъ чудо, и создавалъ себѣ иллюзіи. Вставалъ, одѣвался и шелъ къ воротамъ дома своего.

Окраина города. Тихія, пустынные улицы. Мерзну, а жду, когда появится рѣдкій прохожій. Жаднымъ-жаднымъ взглядомъ вопьюсь въ его лицо: что онъ переживаетъ? а не увижу-ли хоть малѣйшую черточку, хоть тысячное отображеніе того лица-чуда?! *)

И вижу лицо тупое, поработанное жизнью, злое и слѣпо мстительное за свои обиды, лицо безъ черточки откровенія свободнаго человѣка — я вижу раба своего Я, даже не помышляющаго о свободѣ своего духа, и угрюмо ковыляю въ свою избенку.

Нераздѣваясь, садился на постель и обхвативъ колѣна руками, начиналъ покачиваться изъ стороны въ сторону.

*) Къ этому лицу я въ своихъ запискахъ еще вернусь.

Я говорилъ себѣ, что я почти трупъ, что мнѣ только 24 года, а я заброшенъ, никому не нуженъ, что я не выдержу агоніи, конца которой не вижу.

И то, что тянутся дни—дни безъ смысла и цѣли, а я не могу набраться мужества оборвать ихъ, доводило меня до состоянія—выразить страданіе котораго у меня не было словъ.

Я припоминалъ ту бездну жути, какую успѣлъ разглядѣть въ жизни до 24 лѣтъ, плотнѣе обхватывалъ колѣна и раскачивался—это меня спасало отъ крайности: казалось, что единственнымъ способомъ выраженія боли и скорби за ту дикую боль и скорбь, что именуютъ «Жизнью», есть только одно: сидѣть въ той позѣ, въ какой сидѣлъ я, и выть по звѣриному.

Потомъ я къ своему положенію сталъ относиться спокойнѣе. Старался меньше думать и началъ читать. Читая—мечталъ, что при другихъ условіяхъ и я, можетъ быть, былъ бы писателемъ. Въ раннемъ дѣтствѣ страдалъ порокомъ стихоплетенія, въ бытность рабочимъ тоже по временамъ былъ одержимъ зудомъ: за станкомъ стоишь, а фантазія разыгрывается и тѣшитъ:—если это написать, пожалуй, будетъ интересно! Иногда и писалъ. Напишешь и бросишь. На время забудешь, а потомъ опять тоже. Но серъ-

езно о писательствѣ никогда не думалъ; слишкомъ великимъ дѣломъ казалось мнѣ это.

И вотъ попадаютъ мнѣ біографія Горькаго; хвалебная литература ему.

Точно богъ надеждъ поселился въ избенкѣ моей. Трепетомъ восторга и гордости преисполнился я за Горькаго: изъ низинъ жизни—и такъ высоко!.

И впервые у меня появилась мысль, что образованіе для таланта необязательно.

Нѣсколько дней я колебался, а когда спросилъ себя:

—Что, собственно я теряю, если у меня не окажется данныхъ?

Тогда у меня явилась бумага и чернила: я засталъ за разсказъ!

Я писалъ и непостижимой загадкой было для меня: какъ возможенъ такой подъемъ при моемъ состояніи здоровья?

Коченѣли отъ холода руки—отогревалъ ихъ на лампѣ; обезображенная ревматизмомъ правая рука неповиновалась перу, ныла каждымъ сочлененіемъ—свирѣпо насилывалъ ее, чтобы вывела болѣе четкій линіи письма.

Я работалъ по 10-12 часовъ въ сутки,—спину разломить, боль въ плечахъ до невольныхъ при движеніи стоновъ,—но все это для меня было какъ что-то такое, что не сомной, а съ кѣмъ то другимъ, а у меня—дни летятъ, летятъ дни, полные свѣтлыхъ и радостныхъ мгновеній.

Разсказъ у меня занялъ около двухъ недѣль. Счастливое, незабвенное время, котораго больше не переживешь: я творилъ съ не отравленной душой, я творилъ безъ яда сомнѣній!

Отослалъ разсказъ въ «Ниву». Не было до этого въ моей жизни ничего, чтобы я ввѣрялъ человѣку съ такой вѣрой въ его благородство.

Частицу своей души я отослалъ и вѣрилъ, что «тамъ» понимаютъ, съ чѣмъ они имѣютъ дѣло.

Черезъ мѣсяцъ я получилъ отвѣтъ: «Къ крайнему сожалѣнію редакціи, вашъ разсказъ помѣстить не можемъ».

— Почему «къ крайнему сожалѣнію»? — это первое, что мнѣ пришло въ голову.

Разсказъ былъ автобіографиченъ: вся мука человѣка моего положенія была въ немъ. Я не дерзалъ надѣяться на обязательный пріемъ своей вещи — я ждалъ совѣта на свой вопросъ: писать мнѣ дальше или нѣтъ? И могъ быть благодаренъ за слова:

— Продолжайте.

Или:

— Бросьте.

Отвѣты юмористическихъ журналовъ, гдѣ часто пошло изощряются въ остроуміи, и тѣ мнѣ казались осмысленные.

Но вѣдь, это не юмористическій журналъ? Мучить мучающагося человѣка загадками — къ лицу ли серьезному журналу?

Я долго думалъ надъ отвѣтомъ и рѣшилъ, что разсказъ не читался. И на другой день я отправилъ его обратно въ «Ниву» со слегка склеенными углами первыхъ страницъ.

Черезъ двѣ недѣли я получилъ его, — съ знакомымъ уже отвѣтомъ: «Къ крайнему сожалѣнію редакціи, вашъ разсказъ помѣстить не можемъ».

Провѣрилъ склейку страницъ: ни одна не тронута! Какая безсовѣстная игра словами! Вѣдь, только люди совершенно не уважающіе слова, могутъ не читая вещи — писать: «Къ крайнему сожалѣнію». Я растопилъ печь, бросилъ въ нее свой разсказъ и, наблюдая, какъ огонь медленно пожиралъ страницы тетради, переживалъ мучительное чувство: мнѣ казалось, что если бы послѣ этого я увидѣлъ свое первое произведеніе въ печати, я не испыталъ бы того упоенія, какое должно испытать при мысли, что написанное тобой читается десятками тысячъ людей.

Горѣла частица моей души и негодовала душа моя:

— Не можете такъ поступать! Лжете вы, говоря, что искусство для васъ свято, если для васъ не святы творецъ искусства. Дойти до того, чтобы забыть о томъ, что не камни вамъ шлются, значить вынимать душу изъ искусства. Святымъ мѣстомъ и дѣломъ не всякій жрецъ освящаетъ себя и въ почетныя тоги руководи-

телей общественной мысли облакается не по заслугамъ. Не можете такъ поступать! *).

Когда отъ разсказа остались тонкіе, дрожащіе, точно въ агоніи, листки перга—я далъ себѣ слово больше не писать.

— До чего доходитъ виртуозность въ пренебреженіи къ человѣку. Не честнѣе-ли, если предложеніе подавляетъ спросъ—заявлять о томъ, чтобы авторы присылаками рукописей не трудились, чѣмъ тѣшить «крайними сожалѣніями»?

Недѣли на двѣ я вѣхалъ въ апатію. Сестра привосила книги, журналы—не читалъ.

Стояла четвертая недѣля великаго поста. Былъ праздничный день. На душѣ было исключительно скверно—и хмуро я пожаловался сестрѣ:

— Чортъ знаетъ... живешь, какъ въ тюрьмѣ. Свѣта невидишь.

Сестра молча посмотрѣла на окна, вышла изъ избы, вернулась минутъ черезъ пять и сказала:

— Чтожъ раньше молчалъ? Разъ беспокоить—давно бы квартирантъ Федорычъ отгребъ снѣгъ.

Явился въ саду Федорычъ и началъ работать. Окна были завалены почти доверху. И когда

*) Въ данномъ случаѣ по отношенію къ „Нивѣ“, я былъ не правъ: рукопись моя, какъ первые опыты, была, конечно, негодна. Но, далеко неслестныхъ словъ для редакцій я все-таки не беру назадъ, ибо и къ „годнымъ“ рукописямъ редакціи относятся не лучше.

Федорычъ отбросилъ отъ нихъ снѣгъ—меня захватила волна восторга: снѣгъ въ саду побурѣлъ, тяжело осаживался, на деревьяхъ блестя капельки воды, по сучьямъ бѣсновались воробьи, весь садъ былъ ярко залитъ солнечнымъ свѣтомъ. Жизнью пахнуло на меня такъ, точно я десятки лѣтъ былъ заточенъ въ четырехъ стѣнахъ; съ великой радостью я почувствовалъ, что все мое одряхлѣніе только внѣшнѣе, временное—отъ недуга и обстановки; остро я понималъ, что я къ 24 годамъ въ сущности очень юнъ, молодъ, не изжитъ.

— Ганя, Ганя,—кричалъ я:—Смотри: Солнце! Солнце! Понимаешь ты... Боже мой—Солнце! а?

Сестра, придавленная суровой жизнью, мыслями о темной одинокой старости, посмотрѣла на меня съ недоумѣніемъ:

— Чтожъ, солнце? Впервые его что-ль видишь?

Такой вопросъ засталъ меня врасплохъ и я не зналъ, что мнѣ отвѣтить. Да и думать надъ отвѣтомъ не хотѣлось—блаженно лепеталъ:

— Ну, да конечно... Нѣтъ, конечно, видѣлъ и раньше, но, теперь оно какое то особенное.

— Какое «особенное»? Какъ всегда.

— Ну, нѣтъ! Вотъ и Федорычъ...

Я жадно смотрѣлъ на Федорыча и восхищался.

Раякій, сорокалѣтній мужикъ, съ краснымъ, какъ кумачъ, лицомъ, онъ былъ воплощеніемъ здоровья и силы: вырѣзывая лопатой тяжелые

квадраты снѣга, онъ откидывалъ ихъ сажени за три—къ забору, какъ мячики.

— Ганя, какой онъ сильный! а? Такіе куски и такъ легко?!

Улыбаясь, сестра припомнила:

— Что Федорычъ,—развѣ бы у тебя такая сила была въ его лѣта, если бы не болѣзнь? Помню: ты въ 14 лѣтъ такъ снѣгъ чистилъ, какъ Федорычъ.

Слова сестры какъ то прошли мимо моего сознания, но ея улыбка, улыбка состраданія и жалости больно рѣзанула меня: сразу улетучилось мое восторженное состояніе, вдругъ я почувствовалъ всю свою слабость, внезапно заняло болью все тѣло.

Съ трудомъ я добрался до постели, легъ къ стѣнѣ лицомъ, закрылъ глаза: хотѣлось подольше сохранить иллюзію восторга.

— Но свѣтило солнце, стоялъ сильный Федорычъ—но все это такъ далеко-далеко и не для меня: для меня близко, подошло вплотную и съ болью глубоко впилось въ меня—улыбка сестры.

Точно мнѣ заживо пѣли отходную.

Хотѣлось крикнуть:

— Пожалуйста, никогда такъ не улыбайся.

Потомъ я задремалъ и, когда очнулся—сестра уже куда то ушла.

Но солнце, и Федорычъ съ этого дня вошли въ мою жизнь, какъ нѣчто неотъемлемое, какъ живые протесты противъ моего медленнаго умиранія.

Стоитъ только закрыть глаза и вижу чудесное свѣтило, ражаго мужика, и твержу себѣ:

— Въ самомъ дѣлѣ, чтожъ я: одна неудача—и уже руки опустились. Развѣ это характеръ? Что за безволие? Надо пытаться еще. Отъ смерти не уйдешь, но и спѣшить къ ней не слѣдъ.

И иногда размышленія о смерти при мысли, что есть солнце и такіе прекрасные мужики, какъ Федорычъ, прерывались у меня смѣхомъ: я смѣялся надъ перспективой умереть въ 24 года, когда существуютъ такіе ликующіе символы жизни, какъ солнце и Федорычъ.

Иногда спохватывался:

— Куда ужъ? Ерунда. Всѣ они тамъ, вѣроятно вродѣ «Нивы».

Да не надолго. Въ избенкѣ уже посвѣтлѣло; не видишь своего лица, а чувствуешь, что оно преобразилось; впадешь въ тихое раздумье и кажется, что кто-то невидимый, безъ границъ добрый и чуткій грустно и ласково манитъ къ себѣ, открываетъ даль прекрасную, гдѣ всему, чѣмъ больна душа твоя, грезится покой забвенія.

И самъ незамѣтишь, какъ сползешь съ постели, сядешь за столъ—и пишешь до тѣхъ поръ, пока... не явится демонъ «Крайнихъ сожалѣній!» Онъ меня ссоритъ съ Вдохновеніемъ. Стоило явиться ему—я бросалъ перо, прочитывалъ изъ написаннаго нѣсколько строкъ—Боже мой: блѣдно, блѣдно до отвращенія, безсодержательно до острой ненависти къ себѣ!

Чувствовалъ, какъ я опускаюсь, дѣлаюсь такимъ маленькимъ и ничтожнымъ—кажется, если кто нибудь сейчасъ войдетъ въ мою избенку, я ему покажусь жалкимъ до слезъ. Потомъ отрывался отъ стола и тапился къ постели.

Въ это время я уже не зябъ и моя обычная одежда—былъ бѣлый халатъ. Онъ болтался на мнѣ, какъ на палкѣ,—до такой степени мнѣ казалось,—и это вызывало у меня приливъ ярости.

Я брезгливо въ это время ненавидѣлъ себя; свое тѣло, а особенно ноги: хотѣлось бить ихъ кулаками за то, что они у меня высохли, за то, что колѣна безобразно изуродованы ревматизмомъ.

И ложился на постель со словами:

— Эхъ ты... горе писатель! *)

И еще двѣ попытки: написалъ два разсказа и посылалъ въ «Русское Богатство» и «Журналъ для всѣхъ».

Въ обѣ редакціи писалъ одно и тоже: «Посылаю разсказъ только для того, чтобы имѣть отъ компетентнаго лица совѣтъ: продолжать писать мнѣ или нѣтъ? Нужно шадить чело-вѣка тамъ, гдѣ это цѣлесообразно. Если моя вещь заслуживаетъ рѣзкаго отзыва—не стѣсняйтесь:

*) Такъ, вѣроятно, только въ одной Россіи платятся за свои первые, неуверенные шаги. Ни гдѣ такъ *человѣчно* не умѣютъ поддѣржать, какъ у насъ.

за это я могу быть только благодаренъ. Мнѣ нужна увѣренность, что я пишу не бесполезно, или сознаніе, что моя работа—работа Сизифа».

Отвѣты изъ обоихъ журналовъ получились лаконическіе: «Ваша вещь не подходитъ».

Я недоумѣвалъ: что же тамъ за люди?

Кажется ясно, какъ дважды два, чего я прошу.

Я мучился. Съ жадностью накинута на литературу, изъ которой можно было бы уяснить себѣ, что же такое въ сущности литературный міръ?

Я слѣпо вѣрилъ печатному слову и до этого—все, что мнѣ попадалось въ это время,—все убѣждало меня, что печатное слово для тѣхъ, кто пишетъ, «Святая-святыхъ» **)

Да и не можетъ быть иначе: вѣдь, какая великая отвѣтственность?!

Я жадно читалъ и думалъ, что Душа Искусства не можетъ, какъ Христосъ, потерпѣть въ храмѣ торгашей и фарисеевъ.

Я вполнѣ повѣрилъ священнику Г. Петрову, что «братья-писатели—это люди отмѣченные перстомъ Божьимъ».

Братья—писатели... Боже мой, какой предста-

**) Если бы тогда мнѣ кто нибудь сказалъ, что въ литературу не малое бѣдоту грубой лести, подхалимства, взаимной рекламы друзей-пріятелей—я отъ такого чело-вѣка отвернулся бы съ презрѣніемъ. Писатель, журналистъ—это для меня были синонимы уважающаго себя благородства.

влялся чудный міръ: писатель — это огромное милосердіе, это великая чуткость, — явись къ нему, взглянеть на тебя и вся твоѣ душа будетъ у него на виду, какъ на ладони.

Я вздыхалъ: да, только тамъ, въ мірѣ этихъ людей, жизнь, ничѣмъ не загаженная низменнымъ, настоящая жизнь!

Все чаще и настойчивѣе преслѣдовала мысль: надо отнестись къ какому нибудь крупному писателю — онъ рѣшитъ мою судьбу.

Но къ кому? Мечталось о Горькомъ: родной писатель! Но не зналъ, куда ему написать.

Къ Толстому? Страшно: какъ ни добръ казался по своимъ произведеніямъ — а «графъ» пугалъ.

Случайность рѣшила, что прежде обратился къ Толстому.

Не помню имени мыслеблуда, который довелъ до всеобщаго свѣдѣнія, что Толстой до того «великій гуманистъ» — шадить даже мышей.

— «Левъ Николаевичъ работаетъ. Съ нимъ его секретарь, Гусевъ. Разставлены мышеловки. Хлопъ! Хлопъ! — Сколько, — спрашиваетъ Толстой. — Теперь ужъ набралось къ десятку, — отвѣчаетъ Гусевъ. — Чья очередь? — Ваша».

Толстой бросаетъ работу, одѣвается, забираетъ мышей и несетъ ихъ въ лѣсъ: гуляйте, молъ, тутъ, милые!

А лѣсъ не близко: до него восемь верстъ; иногда приходится относить въ зимнее время по ночамъ.

Прочиталъ я все это — и какъ тутъ не рѣшить: пошлю ему?!

Дабы не отнимать много времени у великаго писателя, я ему послалъ два очень маленькихъ рассказа; въ письмѣ я обрисовалъ свое горькое положеніе и заключилъ его: «Къ моимъ физическимъ мукамъ прибавились душевныя: я захваченъ силой, съ которой не въ состояніи бороться. Я мучаю себя, можетъ быть, совершенно безплодно и очень прошу: просмотрите мои рассказы и, будьте добры, отвѣтите двумя словами: «Брось писать» или «Пиши еще».

Мнѣ отвѣтили черезъ нѣсколько дней.

«Мой отецъ, Левъ Николаевичъ, извиняется, что за недостаткомъ времени не можетъ исполнить Вашей просьбы. Готовая къ услугамъ Татьяна Сухотина».

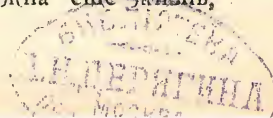
Это меня ошеломило до того: я записалъ.

Сидѣлъ въ своей избенкѣ за бутылкой водки и спрашивалъ себя:

— Человѣкъ и мыши? Какъ совмѣстить? а? На мышей есть время, на человѣка нѣтъ?

А на слѣдующій день у меня, конечно, болѣла голова и ревматизмъ показалъ себя съ удвоенной силой.

Въ подавленномъ состояніи я написалъ Толстому письмо. Говорилъ, что очень сожалею, что у него не оказалось времени на просмотръ моихъ вещей, а въ заключеніе спрашивалъ: беру человѣка, для котораго возможна еще жизнь,



возможенъ трудъ, но нѣтъ собственныхъ средствъ подняться къ этому — долженъ-ли такой человекъ безропотно умирать или вправѣ надѣяться на помощь людей? *)

До такой степени я вдругъ утратилъ увѣренность въ неотъемлемости у человека права на его существованіе!

Послалъ я съ чувствомъ: отвѣта не жди.

Вѣрно: отвѣта я не получилъ, но прождалъ его около мѣсяца. Ежедневно я говорилъ себѣ: запей горькую, бесплодно ожидаешь.

И ежедневно переживалъ жить, въ которую боялся заглядывать.

Коломъ въ головѣ стояли вопросы:

— Развѣ я прошу чегонибудь особеннаго? Не многого прошу, — а не могъ добиться ни отъ редакцій, ни отъ прославленнаго писателя. Гдѣ же проповѣдуемая любовь къ ближнему?

Во мнѣ протестовала *какая то великая правда живого существа*, въ которую я боялся вдумываться, уяснить себѣ ее: чувствовалъ я, что если пошатнется эта правда — *жизнь моя и жизнь вообще безъ этой правды будетъ ужасающей безмыслицей*.

Безъ этой правды не къ чему жить и не станешь жить.

И мое страстное ожиданіе письма отъ Тол-

*) Теперь, когда Левъ Николаевичъ однимъ рѣшительнымъ, великимъ шагомъ завершилъ свое ученіе — съ радостью беру всѣ заднія мысли относительно его обратно.

стого, то во что я не вѣрилъ, но что ждалъ и говорилъ себѣ: «Не надо дурно думать о человецѣ, пока въ этомъ исполнѣ не убѣжденъ» — было смутно связано съ этой правдой. Мнѣ казалось, что я, можетъ быть, такой дикарь, который не знаетъ какого-то важнаго социальнаго закона. И напиши на мой вопросъ мнѣ Толстой, что «такой человекъ не въ правѣ рассчитывать на помощь» — до такой степени была велика моя подавленность, что я ему повѣрилъ бы безусловно. Толстой промолчалъ. Заданный ему вопросъ мнѣ пришлось рѣшать самому.

Я его рѣшилъ: записалъ!

То, что обострялся ревматизмъ и усиливались боли, стало для меня второстепеннымъ. Главное — чаще и больше нужно пить. Ограниченныя собственные средства удовлетворенія не давали и я сталъ искать собутыльниковъ. Въ этомъ недостатка не было. Я шелъ по линіи наименьшаго сопротивленія — легче было убивать себя физически, а когда появлялся протестъ нравственнаго Я, что становилось все рѣже и рѣже, я запирался въ своей избенкѣ съ бутылкой водки.

— Куда лѣзть? И зачѣмъ? Ты пытался просить — ничего; попробуй кричать — будетъ тоже самое. Никто не пойметъ. Никто не услышитъ. Все, что сказано прекраснаго въ мірѣ за человека — ложь, самоукрашеніе. Что ты — не видишь жизни? Если все еще продолжалъ обманываться на другихъ, разубѣди себя на себѣ. Фактъ для

тебя только тогъ, что весь міръ для тебя въ твоихъ четырехъ стѣнахъ, а остальное — міръ прекрасныхъ иллюзій. Обжегся на этихъ иллюзіяхъ, значитъ, молчи! Оселъ! Надо понять, если Евангеліе не перевернуло жизни, кто можетъ перевернуть? Почти двѣ тысячи лѣтъ пережевываютъ на всѣ лады его истины. На учении Великаго Учителя растутъ, какъ грибы, учителя жизни, но отъ житницъ своихъ не откажутся: усердно сѣютъ и жнутъ на нивѣ Великаго учения. Оселъ! Прими за истину, что всѣ истины для тебя — небесные звуки, свѣтлыя фикціи. Молчи, какъ молчатъ твой неизбѣжный, безгласный спутники — тоска и муки. Молчи и ни куда не лѣзь, когда понимаешь такія чудовищныя противорѣчія. Если ты попадешь въ тюрьму, какъ политическій дѣятель, — за тебя общественный протестъ: *«Насъ возвышающій обманъ!..»* Люди вообще протестуютъ противъ того, противъ чего безсильны, гдѣ не могутъ помочь. Любятъ въ протестъ звукъ, ибо онъ ничего не стоитъ. Но, если у тебя тюрьма духа и тѣла въ твоихъ четырехъ стѣнахъ — протестуй самъ и никто не услышитъ. Тебѣ позволять... свободно позволять умирать! Молчи и никуда не лѣзь...

Теперь не передашь всей горечи, что пришла въ голову тогда.

Я пилъ и пьянѣя, — тупѣлъ. Бутылка мнѣ начинала казаться, — мудрымъ блескомъ свѣтится стекло и ходъ моихъ мыслей вѣдомъ ему, — но

такъ оно спокойно, такъ безстрастно, точно ему это давно все извѣстно, надоѣло.

Мнѣ казалось это немного обидно, но добродушно я говорилъ:

— Понимаю тебя, посудина. Въ этомъ родѣ для тебя ничего не ново. Все слышала миллионы разъ!

И бутылка такъ ласково, покорно и многозначительно поглядывала на меня, точно отвѣчала:

— Что зря болтаешь? Кромѣ скуки отъ этого ничего. Пей и все тутъ.

До дна я бутылки никогда осилить не могъ.

Въ блаженномъ состояніи забвенія и физическаго недуга и замирающей мысли, я долго слипающимися глазами смотрѣлъ на дно бутылки и, упиваясь тѣмъ, что проснусь когда-нибудь еще что выпить, бесѣдовалъ съ бутылкой.

Посижу, подумаю — чѣмъ то смутнымъ, далекимъ, и до смѣшного скучнымъ кажется собственная жизнь, и жизнь вообще — дотронусь до бутылки и говорю:

— Что видишь, что слышишь — хранишь, какъ могила. Это хорошо.

Почему «хорошо» — думаю надъ этимъ упорно, но опьянѣвшему сознанию это не под силу: кажется, что въ этомъ необыкновенная глубина.

И, какъ добираюсь до постели — этого послѣ не помнить.

Быстро потекли дни, недѣли и мѣсяца.

И не время уже властвовало надо мной, а я надъ временемъ. Съ гордымъ злорадствомъ я смѣялся надъ силой времени:

— Ты для меня остановилось. Ты сметешь меня съ лица земли, какъ сметаешь все и всѣхъ—но ты для меня остановилось.

То, что дни мои идутъ безъ смысла, то что мнѣ время не дорого, то, что мнѣ не зачѣмъ заглядывать впередъ—все это создавало мнѣ понятіе абсолютно свободного отъ всего человѣка.

Иногда я съ утра до ночи бродилъ по знакомымъ.

И всюду жалобы на время:

Однихъ давить скукой, однообразіемъ, тѣмъ, что жизнь не такъ сложилась, какъ хотѣлось; у другихъ все что-то не додѣлано, недостигнуто, «*а время мчится*»; третьи и на скуку не жаловались, и достигать ничего не хотѣли—жили и трепетали, что за спиной времени идетъ и прячется смерть.

— Какъ страшно: день прожить—къ смерти ближе; какъ глупо: живешь и не знаешь, когда и отчего умрешь,—особенно часто жаловалась мнѣ одна дама.

Я наблюдалъ всѣхъ этихъ рабовъ времени, думалъ, кто въ мірѣ не рабъ его, и сознаніе, что я освобождаюсь отъ его власти, было мнѣ пріятно.

Пришла мнѣ въ голову однажды мысль, что

и по знакомымъ я таскаюсь и пью затѣмъ, чтобы обмануть себя:

— Попробуй-ка опять побыть одинъ и безъ бутылки—время покажетъ себя.

Я засѣлъ недѣли на три дома и не пилъ.

Было уже трудно, водка становилась потребностью организма, но я выдержалъ.

Пусто и холодно было на душѣ. Одиночество не томилло, а то, что не ждешь и не хочешь отъ жизни ничего, создавало ощущение необычайной легкости.

Вырабатывалась философія отрицанія жизни.

Я все ставилъ подъ угломъ, что если не можешь жить слѣпо, то какое бы завидное положеніе въ жизни не имѣлъ, ты все таки очень дорого заплатишь за свою жизнь.

Если ты не безъ совѣсти, если чувствуешь, что право на жизнь другого нужно уважать не меньше, чѣмъ свое—отравятся радости твои внутреннимъ зрѣніемъ твоимъ.

Я видѣлъ въ жизни, что она не что иное, какъ подвижъ, и спрашивалъ себя: во имя чего мнѣ его принимать?

И отвѣта не было. Ибо пошатнулась во мнѣ великая правда живого существа *) и разумъ пересталъ вѣрить въ цѣлесообразность прекрасного: съ холоднымъ злорадствомъ онъ разбивалъ старыя цѣнности и торжествовалъ, что на мѣ-

*) Позже, когда я вполнѣ уяснилъ себѣ эту правду—не могу не крикнуть: духа не угащайте!

стѣ бывшихъ и ложныхъ самообмановъ и самоукрашеній воцаряется гордая, неуязвимая иронія надъ жизнью всего существующаго.

Когда меня спрашивали, какъ я живу, что переживаю отъ наличности хроническаго недуга—я усмѣхался:

— Живу. А переживать, пожалуй, ничего не переживаю.

Не можетъ быть. Въ такія молодая лѣта и такъ страдать... Неужели не думаете, какъ отъ болѣзни избавиться.

— Не думаю.

Мнѣ не вѣрили. А я не договаривалъ, что живу, пока не захочу умереть.

Была спокойная, возвышающая себя радость въ томъ, что все мое я—въ моемъ я. Внутреннее самоотреченіе достигло высоты, что въ каждый моментъ я совершенно спокойно могъ рѣшить свое «не быть», но отъ этого удерживало острое и темное любопытство: чудилось, что такое неестественное для живого существа безразличіе къ жизни и ея законамъ таитъ за собою какую-то страшную пустоту.

И жилъ я только ради этого любопытства.

И вдругъ—рѣзкая перемена. Я столкнулся съ дѣвушкой, которая дала мнѣ понять, что моя сила не сила: отрицаніе жизни—бессиліе. Что побѣда человѣка не въ самоуничтоженіи, а въ самоутвержденіи. Я понялъ и вновь повѣрилъ въ старыя цѣнности свято и наивно, какъ ребенокъ.

Бросилъ пить и усердно принялся писать, не посылая своихъ вещей въ редакціи: не думалъ ужъ отъ нихъ получить того, что мнѣ было нужно.

Я писалъ, а надо мной глумились. «Навѣщали» братья.

Одинъ смотрѣлъ, если заставлялъ меня за писаніемъ, на мои рукописи и злорадно говорилъ:

— Все еще пишешь? Деньги на бумагу переводить? Умень очень! Люди съ образованіемъ за 25 рублей въ мѣсяцъ служатъ, Христа ради просятъ, — а писать не лѣзутъ. Кнутъ бы на тебя, чортъ тебя возьми, хорошій! — Что тебѣ? Живешь, жрешь готовый хлѣбъ. Работать надо. Тогда дурь въ голову не ползетъ. Онъ видѣлъ мои обезображенные ревматизмомъ руки и ноги, всю беспомощность въ передвиженіяхъ—и не вѣрилъ въ то, что я не могу работать:

— Притворяется. Лѣнтяй—и больше ничего. Ходить не можетъ? Вретъ! Ожечь хорошенько кнутомъ: всю боль забудетъ, побѣжитъ, сволочь хромая!

Другой «братецъ» вѣрилъ, что я дѣйствительно боленъ и убѣждалъ:

— Что ты здѣсь лежишь? Шелъ бы ты въ богадѣльню. Кромѣ, какъ на казенный хлѣбъ, никуда не годишься.

Я въ богадѣльню идти не желалъ. Тогда они однажды вмѣсто меня получили съ квартиран-

товъ деньги и вернули мнѣ ихъ, когда я имъ пригрозилъ судомъ. Довести до суда то, что брата-калѣку хотятъ вышвырнуть на улицу, они бы не постѣснялись. Они посоветовались съ компетентными людьми и, когда имъ сказали, что при наличности семи наслѣдниковъ на домъ, на всѣ квартирныя деньги они не имѣютъ права, что каждый изъ нихъ можетъ получить на свою долю только 1. рубль 71 коп.,—изъ за такой суммы они рѣшили скандала не поднимать.

Одинъ, впрочемъ, тотъ который не переваривалъ мысли о моемъ писательствѣ, не прочь былъ и отъ этихъ денегъ.

— Съ какой стати онъ будетъ жрать мою долю? Рубль, семьдесятъ одна копейка тоже не шепки. Даромъ мнѣ ихъ никто не дастъ.

Другой убѣдилъ:

— Пусть его. Какъ то неловко. Самъ посуди: мы съ тобой люди здоровые, зарабатываемъ больше ста рублей въ мѣсяцъ. Не стоитъ судиться. Какъ ни какъ, а все таки братъ, не чужой. Отъ мирового и то будетъ совѣстно, и скандалъ на весь городъ. Не стоитъ.

Они до суда не довели, но и примириться съ тѣмъ, что я буду пользоваться квартирными деньгами—не могли.

То по одиночкѣ, то оба вмѣстѣ приходили и, то мягко убѣждали:

— Продадимъ домъ? а? Что ты такъ лежишь? Тогда у тебя будутъ деньги полѣниться. Выле-

чишься работать будешь, человѣкомъ опять станешь.

То грозили;

— А, не соглашаешься? Смотри: выкинемъ изъ дому и больше ничего. Домъ ремонта требуетъ, а ты его прожиралъ. Что же мы получимъ съ него, когда онъ совсѣмъ развалится?

Когда я скитался по городамъ и весямъ Руси—деньги они получали, но ремонта не дѣлали.

Они, наконецъ, обѣщали:

— На насъ говоришь, что мы негодяи—самъ, негодяй. Чего упираешься? Продадимъ домъ—получай свою долю, мы тебѣ по сотнѣ дадимъ: на, лечись! Будь человѣкомъ и къ тебѣ по человѣчески отнесутся.

Я смѣялся;

— Сотень отъ васъ не хочу: плакать о нихъ будете. Дайте мнѣ лучше сейчасъ по рублю.

По рублю они не давали, а непремѣнно хотѣли дать по сотнѣ... когда будетъ проданъ домъ!

Потомъ и о «сотняхъ» замолчали, когда я предложилъ подтвердить документами, что съ доли каждого изъ этихъ «братьевъ» я могу получить по сто рублей, но съ продажей дома не отставали.

Я не соглашался—они приходили въ ярость. Пошлость нагло торжествовала подъ моею безпомощностью.

— Мы дураки,—а ты уменъ. Мы тысячи сумѣли нажить и еще наживемъ, а ты что на-

жилъ? Добродѣялся по бѣлу свѣту то, а теперь издыхай. *)

Другой былъ болѣе радикаленъ. Онъ совершенно не уяснялъ себѣ, что такое «соціалистъ» и всякаго человѣка чуточку выше его сознанія, или не соглашающагося съ его человѣконенавистническими взглядами на жизнь, причислялъ къ сонму соціалистовъ.

Я былъ у него тоже въ числѣ таковыхъ. Съ дикой злобой онъ мнѣ преподносилъ:

— Издыхай. Издыхай! Не помогать такимъ надо, а вѣшать!

Приводило его въ ярость такъ же и то, что я у него никогда ничего не просилъ.

— Гордъ, сволочь? Брату не хочешь поклониться?

Я говорилъ, что глупо кланяться тому, кто все равно ничего не дастъ.

— Это вѣрно: собакѣ выброшу, а тебѣ не дамъ. Но врешь! придешь, калѣка, когда нибудь и поклонись. На колѣняхъ будешь ползать. Врешь, когда нибудь, и придешь, явишься. А тогда то ужъ я тебѣ покажу!..

Этотъ «братъ» былъ не прочь бы со мной

*) И этотъ же самый братъ на праздники и на свои именины, или на именины жены, старался затащить меня къ себѣ: чтобы я развлекъ его гостей, какъ умный человѣкъ. Любителей поболтать такъ и интриговать: «Это что? Поговорите-ка съ моимъ братомъ! Умная голова, да жаль: больной».

расправится кулаками, если бы его не удерживало боязнъ во мнѣ «соціалиста». Оба они въ сущности боялись меня, какъ человѣка, которому ничего не стоитъ разрушить ихъ благополучіе, ввергнуть ихъ въ пучину несчастій.

— Ему что—ему нечего терять. Ему ничего не стоитъ подстроить такъ, что вмѣстѣ съ нимъ въ тюрьмѣ очутишься.

Я писалъ, я бросилъ пить, но все болѣе и болѣе становился невыносимъ окружающій меня ужасъ.

И, наконецъ, я не выдержалъ: я прочелъ въ газетахъ, что М. Горькій въ Нижнемъ и согласился продать домъ. Его продали дешевле, чѣмъ онъ стоилъ: торопились братья продать изъ боязни, какъ бы я не раздумалъ продавать.

Ѣхалъ я въ Нижній съ деньгами, на которые можно прожить не болѣе трехъ мѣсяцевъ; Ѣхалъ съ тяжестью, что теперь нѣтъ уже угла, куда бы въ случаѣ неудачи у Горькаго, можно было вернуться доживать свой вѣкъ; Ѣхалъ съ великими надеждами:

— Нѣтъ, если у меня окажется дарованіе, Горькій поддержитъ! Такой человѣкъ!.. Онъ искалъ проститутку, чтобы спасти ее *). Не можетъ онъ забыть свою жизнь; не можетъ забыть, что самого его поддерживалъ Короленко.

Я Ѣхалъ въ Нижній.

Ѣхалъ съ такими великими надеждами и лю-

*) Разсказъ Горькаго «Однажды осенью».

бовью къ человѣку, котораго зналъ только еще, какъ писателя, составилъ себѣ представленіе о его личности по его книгамъ и, если бы въ это время мнѣ кто нибудь сказалъ: «Горькаго нѣтъ, Горькій скоропостижно умеръ»—я не могу представить себѣ, какъ бы это на мнѣ отразилось.

Онъ былъ единственнымъ человѣкомъ, на котораго я возлагалъ надежды на свое спасеніе.

Братья-писатели, въ нашей судьбѣ,
Что-то лежитъ роковое...

Некрасовъ.

По приѣздѣ въ Нижній, я остановился въ гостинницѣ и далъ себѣ два дня отдыха.

Тихо и бездумно было на душѣ: испытывалъ огромное облегченіе, что та жизнь, которую я два года провлачилъ на родинѣ—уже оставлена позади и не повторится.

О томъ, что впереди—тоже не загадывалъ.

Найдетъ нужнымъ Горькій поддержать меня—благо мнѣ; нѣтъ,—значитъ,—надо умирать.

«Если убѣдился, что ни къ какому дѣлу въ жизни сталъ непригоденъ—имѣй мужество себя изъ жизни устранить».

И эта мысль была для меня такой аксіомой, надъ которой уже нечего задумываться.

На третій день я узналъ въ одномъ книжномъ магазинѣ адресъ Горькаго и отправился къ нему:

Путь былъ не близкій, а я рѣшилъ пойти пѣшкомъ.

Двигался я на своихъ недужныхъ ногахъ тихо-тихо—должно быть, не шибче черепахи. Обращалъ на себя своимъ шестіемъ вниманіе любопытныхъ. Это мнѣ было всегда неприятно: человѣка я въ этихъ взглядахъ не чувствовалъ, а тупое, эгоистичное животное, инстинктъ котораго трепещетъ только за себя: надо беречься, а не то и я отъ этого не застрахованъ.

Это въ лучшемъ случаѣ, а въ худшемъ—сколько во взглядахъ такихъ животныхъ обоего пола я прочиталъ низменныхъ утвержденій, что я не ревматикъ, а венерикъ, какую бездну отвращенія и брезгливости я видѣлъ по своему адресу отъ изящныхъ господъ и нарядныхъ дамъ.

На меня дѣйствовало не то, что меня клеймятъ не за совершенный грѣхъ, а то, что во всѣхъ этихъ взглядахъ заигралось опасеніе, что надо быть поосторожнѣе и считаться съ «мѣрами предупрежденій».

— Если бы вы были и правы, то все таки какое вы, негодяи, имѣете право смотрѣть на меня такъ, если не нынче, такъ завтра вы имѣете всѣ шансы встать на положеніе, которое вы умѣете такъ великолѣпно обдавать отвращеніемъ и брезгливостью? Какое право, я васъ спрашиваю?—такъ многихъ и многихъ меня порывало спросить въ началѣ своей болѣзни, потомъ такіе порывы улеглись—было только неприятно и

стыдно смотрѣть на тѣхъ, кто смотритъ на меня.

И безусловно человѣчнѣе была послѣдняя категория—рабочіе, и вся масса пришлаго изъ деревни и служащаго при городѣ мелкаго люда.

Откровенно бросали мнѣ прямо въ лицо:

— Вотъ это такъ-здорово доходился!

— Что голубчикъ, получилъ?

— Эхъ, милый, теперь-то думаю, понимаешь, какъ «за мигъ свиданья, терпѣть страданья?»

Много было въ такой откровенности добродушія и сочувствія, что вызывало у меня иногда благодарный смѣхъ, а то и словечко:

— Не ошибаешься.

Эти люди учитывали, что брезгать и презирать имъ не слѣдъ, когда съ ними можетъ быть тоже самое. Эти люди были умнѣе и человѣчнѣе изящныхъ господъ и дамъ!

Двигался я на своихъ недужныхъ ногахъ тихо-тихо—были взгляды на меня, слышались нѣсколько разъ слова по моему адресу, но я отъ всего этого былъ очень далекъ.

Шелъ я къ *большой души* и до мелкихъ-ли душъ мнѣ?

Шелъ и думалъ, что повѣдую ему недавно пережитый смрадъ отрицанія жизни, что я скинулъ со своей души эту страшную пелену—не видѣть въ существованіи міра цѣлесообразности, что все мое Я теперь только въ томъ: слабъ и немогъ я разумомъ, и свято увѣрую въ то,

что ты мнѣ скажешь *большая душа*, чему научишь! Жизнь я принялъ, какъ подвигъ добровольный и радостный, крестъ жизни въ жизни счастьемъ нахожу нести,—благослови, *большая душа*, на пути указанныя тобою.

На 26 году жизни я впервые шелъ на великую исповѣдь—и жизнь для меня послѣ этой исповѣди или смерть,—все это я отдалъ во власть духовника, облеченнаго въ Ризу Писателя.

Но вотъ и конецъ. Дошелъ. Угловой домъ и при немъ такой садъ—я даже остановился: въ двухъ шагахъ отъ центра города и такое великолѣпіе. «Недурно Горькому творить въ такой обстановкѣ».

У воротъ дома стоялъ какой-то человѣкъ—на мой вопросъ, гдѣ квартира Горькаго, онъ указалъ мнѣ во дворъ на двухъ-этажный флигель.

Отворила дверь горничная:

— Кого вамъ?

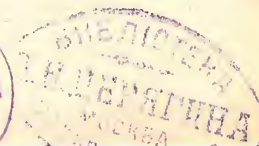
— Алексѣя Максимовича.

— Его сейчасъ нѣтъ.

— А когда будетъ?

— Не знаю. Онъ теперь за-границей, а когда пріѣдетъ—неизвѣстно.

Горничная, сильно хлопнувъ передъ моимъ носомъ дверь, давно уже исчезла, а я все еще стоялъ на одномъ и томъ же мѣстѣ. Тупо уперся въ дощечку на двери: «Дома нѣтъ»—и стою.



Какъ отошелъ, очутился на извозчикѣ, приѣхалъ въ гостинницу—все изъ памяти ушло.

Въ корридорѣ гостинницы поднесся слуга:

— Прикажете обѣдъ подать?

И попятился назадъ;

— Да вы совсѣмъ больны! Можетъ быть, доктора позвать?

Я отклонилъ и обѣдъ и доктора:

— Ничего, пустяки. Нервы у меня пошаливаютъ. Полежу—и пройдетъ.

Легъ и пролежалъ весь день, всю ночь! Заснулъ только подъ утро. Слѣдующій день у меня ушелъ на переѣздъ изъ гостинницы въ комнату со столомъ: надо было экономить свой скудный денежный запасъ.

Двѣ недѣли я переживалъ состояніе растерянности. По цѣлымъ днямъ просиживалъ въ городскомъ саду, или на берегу Волги и думалъ:

— Какъ же мнѣ теперь быть?

Погода стояла плохая, холодная, рѣдкій день обходился безъ дождя. Ревматизмъ мучилъ меня безъ передышки—былъ постояннымъ напоминаніемъ моей безпомощности.

Острую жуть я переживалъ отъ мысли, что этотъ городъ, вѣроятно, будетъ для меня могилкой.

Раздавленный неудачей, своимъ недугомъ, я глазами одинокаго затравленнаго существа смотрѣлъ на жизнь города—и ликъ этого огром-

наго чудовища вселялъ въ меня то страхъ, то злобу.

Съ большой завистью я наблюдалъ надъ босьями—здоровеннѣйшія, но оскотинѣвшія отъ наглости и лѣни, люди.

— Идіоты! Такіе здоровые лодыри и идіоты!

Я жадно выискивалъ въ бесѣдахъ съ ними: гдѣ же тотъ высокій интеллектъ, тотъ свободолюбивый духъ, духъ бунтарей не принимающихъ существующаго, словомъ все то, что далъ въ своихъ босьяхъ Горькій?

Лично я видѣлъ, что это въ большинствѣ искусившіеся тунеядцы; многіе изъ нихъ любили «позы протеста»,—но жалки и лживы были въ моихъ глазахъ слова отброшенныхъ и отбросившихся отъ жизни людей, людей, которыхъ цѣлая армія!

И такъ, толкаясь по городу я однажды услышалъ: «Къ ярмаркѣ Горькій приѣдетъ. Ярмарки не пропуститъ. А эту тѣмъ паче: Шаляпинъ прибудетъ!»

Я услышалъ это на улицѣ, потомъ дома отъ хозяйки, потомъ отъ нѣсколькихъ лицъ въ городскомъ саду,—начиналъ разговоръ съ чего нибудь отдаленнаго и сводилъ на одно:

— Ну, а ваша знаменитость—Горькій, на ярмаркѣ бываетъ?

У всѣхъ увѣренность:

— Ярмарки не пропуститъ. Гдѣ бы не былъ, а на ярмарку приѣдетъ.

Я ожилъ. Ожилъ и безразсудно началъ тратить деньги: покупалъ книги.

Нельзя. Приѣдетъ Горькій—встрѣтимся, а я всѣхъ его сочиненій не читалъ даже! Чего я знаю? Вотъ Леонидъ Андреевъ, Чириковъ, Купринъ, Чеховъ, все это товарищество «Знанія»—у меня ни объ одномъ опредѣленнаго представленія о его фізіономіи писателя! Надо больше читать. Надо хоть немного подготовиться.

Я подготовлялся: ускорялъ наступленіе еще болѣе горькихъ дней.

Я ожилъ, поднялся и передъ началомъ ярмарки вновь упалъ: справился уже въ домѣ Горькаго о его приѣздѣ на ярмарку и получилъ отъ какой то дамы отвѣтъ, что въ этомъ году онъ наврядъ-ли будетъ въ Нижнемъ. Просили его адресъ и этого не дали:

— Сами не знаемъ.

Послѣднія деньги были уже отданы хозяйкѣ.

Отправился я въ редакцію одной газеты. И когда въ первый разъ въ своей жизни узрѣлъ редактора—внезапно смутился. Совалъ ему двѣ тоненькія тетрадки, которыя мнѣ въ эти моменты показались жалкими до необычайности и краснѣя, и запинаясь просилъ:

— Просмотрите пожалуйста. Если подойдетъ—не откажите напечатать.

Отъ послѣдняго слова меня и въ жаръ и въ холодъ ударило: «Боже мой... напечатать?!»

И глазами по сторонамъ покосилъ: вдругъ, ктонибудь услышитъ и... захочетъ?!

Привычнымъ, лѣниво-спокойнымъ и до оскорбленія небрежнымъ движеніемъ руки редакторъ взялъ мои тетради, раскрылъ одну изъ нихъ—зѣвнулъ и заявилъ;

— Почеркъ скверный. Трудно читать.

Я показала ему обезображенную ревматизмомъ руку:

— Не могу четко писать.

— А переписчики и пишущія машины на что?

— Простите, средствъ не имѣю. Положеніе мое...

Я хотѣлъ рассказать этому человѣку свое положеніе—но онъ вновь устало зѣвнулъ и оборвалъ:

— Да собственно, и читать то бесполезно: матеріалу у меня пропасть.

Я еще заикнулся:

— Нельзя-ли сдѣлать исключеніе... положеніе безвыходное...

У него уже зазвучали раздраженные нотки:

— Не могу. Не просите.

У меня вспыхнулъ порывъ: врешь, не камень же ты, если совѣсти твоей не коснусь, такъ, можетъ быть, сознаніемъ чуточку учтешь, что передъ тобой не вещь, не дерево.

Но взглянулъ я на холодное, на смертельно-скужающее и до безобразія уже жирѣющее лицо редактора, взглянулъ на его крупно-сложенную

фигуру, облеченную въ синюю косоворотку — взявъ свои тетради и тихо побрелъ къ выходу, думая:

— Не на своемъ мѣстѣ сидишь и людей косовороткой обманываешь.

У выхода я обернулся. Редакторъ глядѣлъ на меня—на то, какъ я нелѣпо двигаю больными ногами и, на губахъ у него играла презрительная усмѣшка: «тоже, писатель... И какая только шваль въ редакцію не лѣзетъ!»

Черезъ часъ я былъ въ редакціи другой газеты.

Тутъ ужъ я не краснѣлъ, не запинался — я былъ, вѣроятно, похожъ на ребенка, у котораго разбиваютъ нѣчто для него дорогое, когда жаловался и просилъ:

— Вотъ, я только сейчасъ изъ редакціи «Н. Л.»; знаете, это первая редакція, порогъ которой я переступилъ—и я пораженъ... такое тамъ отношеніе... Даже не хотятъ смотрѣть. Можетъ быть, вы не откажете въ просмотрѣ?

Предо мной стоялъ франтоватый, выхоленный и юркій человѣчекъ и улыбался:

— Будьте увѣрены: мы просмотримъ, мы не откажемъ.

— Спасибо. Вотъ мои вещи. Просмотрите и, если подходящи, будьте человѣчны, не откажите помѣстить у себя.

Человѣчекъ улыбался.

— Не откажемъ, не откажемъ... Но... за плату?

Откровенно, довѣрчиво я смотрѣлъ этому чело-
вѣку въ глаза, въ лицо; что то въ этомъ лицѣ и во взглядѣ уже остерегало меня, насторажи-
вало, чудилось что то безконечно далекое отъ
тѣхъ прекрасныхъ образовъ, которые запечатлѣ-
лись во мнѣ о служителяхъ печатнаго слова по
книгамъ, *) но сразу не могъ сорваться съ приня-
таго тона:

— Да, хоть за маленькую. Я и такъ бы от-
далъ, если бы... видите, я больной чело-
вѣкъ, въ этомъ городѣ совершенно одинокъ. Приѣхалъ
къ одному чело-
вѣку, а его не оказалось. Черезъ
недѣлю, черезъ двѣ могу очутиться на улицѣ.

И я даже улыбнулся:

— Вообще, положеніе хуже губернаторскаго.
Зато чело-
вѣчекъ пересталъ улыбаться:

— Не могу, матеріалу въ запасѣ много.

Я былъ пораженъ: безъ платы не мѣшаетъ,
а за плату—такъ запасъ матеріала великъ! И это
сейчасъ же, безъ всякихъ переходовъ? Такъ
беззащитно, такъ глупо?! А чело-
вѣчекъ вы-
кинулъ трюкъ еще лучше:

— Я вамъ дамъ совѣтъ: посылайте свои раз-
сказы въ одну газету; тамъ не возьмутъ — въ
другую; въ другой тоже—такъ въ третью, и т. д.
Такимъ образомъ, гдѣ нибудь да устроитесь.

*) О такихъ милыхъ, чудесныхъ людяхъ я читалъ: «о
восьмидесятникахъ»—и глупо думалъ, что уже кто-кто, а
«семья служителей печатнаго слова» не идетъ назадъ: все
впередъ и впередъ!

Такимъ трюкомъ я на минуту былъ уже совершенно ошеломленъ; тупо глядѣлъ на редактора-издателя и сомнѣвался: я, можетъ быть, не такъ понялъ, можетъ быть, въ чемъ нибудь ослышался?

Потомъ опомнился. Голосъ у меня сталъ остро-звонящимъ:

— Спасибо за совѣтъ. Но позвольте вамъ замѣтить, что въ устахъ редактора газеты такой совѣтъ кажется мнѣ дикъ.

— Почему?

Онъ удивился совершенно искренно!

— Объяснять-ли? Сами не понимаете?

— Ей-Богу, не понимаю!

— Вы слышали, что я говорилъ?

— Великолѣпно.

— Такъ какъ же вы могли давать совѣтъ посылать куда-то человѣку, который вамъ пред-варительно объяснилъ, что черезъ недѣлю-двѣ у него не на что будетъ жить?

Онъ развелъ руками—съ такимъ изумитель-нымъ недоумѣніемъ, точно я высказалъ ему ка-кой то верхъ нелѣпости. А потомъ пожалъ пле-чами.

— Мнѣ какое дѣло, что вамъ жить не на что. Я вамъ далъ совѣтъ, а остальное до меня не касается.

Я не далеко былъ отъ состоянія, когда избѣ-женный человѣкъ плачетъ, бьетъ кулаками объ столъ—но усиленіемъ воли сдержался и сказалъ:

— Очень мило! Но я вамъ въ свою очередь тоже дамъ совѣтъ: бросьте со столбцовъ своей газеты вѣшать истины, бросьте до тѣхъ поръ, пока не научитесь одной: понимать жажду че-ловѣка дышать, видѣть, жить, сознать себя живой, одухотворенной единицей!

Редакторъ опѣшилъ; онъ моргалъ глазами такъ... лучше нельзя было выразить дополненія къ его совѣту!

Очевидно, силился понять «истину».

Потомъ опомнился и тихо прошипѣлъ:

— Я позову наборщиковъ и прикажу имъ отравить васъ въ полицію.

— Зовите! Отправляйте!

Онъ медлилъ. Я не боялся угрозы въ лицѣ наборщиковъ и полиціи, но побоялся приступа состоянія невмѣняемости: чтобы видѣть слезы твои такой человѣкъ?!

И огромнымъ напряженіемъ воли заставилъ себя выйти изъ редакціи.

Миновалъ одинъ домъ и пристѣлъ на скамью у воротъ.

Улица плыла, прохожіе казались точками, го-лова кружилась до тупой мути отчаянія отъ словъ:

— Будьте человѣчны!.. Будьте человѣчны!..

Стоялъ предо мной и неотступно смотрѣлъ мнѣ въ душу великій ужасъ земли, позорное самопроклятіе человѣчества: поруганное и раз-давленное право человѣка на жизнь!

У сколькихъ оно вырвало и вырветъ эти позорныя напоминанія: «Будьте человѣчны?!»

Сколько сердецъ разметали и разметутъ бисера передъ свиньями: «Будьте человѣчны?!»

Послѣ этого прошла недѣля, а затѣмъ — я еще потерпѣлъ фіаско.

Сидѣлъ въ городскомъ саду и слышалъ, какъ два гимназиста горячо говорили объ отношеніяхъ писателя Ч. къ учащейся молодежи.

Очень ужъ чего нибудь утѣшительнаго для себя я въ этихъ разговорахъ не видѣлъ; все сводилось къ тому, что тамъ то Ч. сказалъ то-то учащейся молодежи; въ другомъ мѣстѣ тоже «то-то» и т. д.

Я жадно слушалъ: а не договорятся-ли до чего либо болѣе положительнаго для меня — до того, гдѣ бы г. Ч. проявилъ себя помимо «то-то» и на дѣлѣ.

До этого не договорились. Но все-таки я узналъ отъ поклонниковъ Ч. его адресъ и въ этотъ же день снесъ ему два разсказа.

Дома его не оказалось, но прислуга успокоила меня тѣмъ, что по болѣзни матери, которая находится въ домѣ, онъ съ дачи навѣдывается часто.

— Черезъ день, черезъ два обязательно бываетъ. Очень о больной матушкѣ заботится.

При разсказахъ я приложилъ письмо, гдѣ то-

ворилъ и о своей болѣзни, и о полномъ неимѣніи средствъ къ жизни, и коротко заключилъ: «если найдете дарованіе, надѣюсь, окажете и поддержку».

Поддержать или не поддерживать — на этотъ счетъ не гадалъ: закрывалъ глаза на грядущее. Жилъ одной только увѣренностью: прочтеть, а тамъ увидимъ, что будетъ.

Я жилъ увѣренностью, но увы — очень не долго: на другой же день я получилъ свои разсказы, присланныя съ дворникомъ, и при нихъ письмо супруги писателя.

«Мой мужъ, уѣхалъ, въ Самару провожать своего брата на войну. Да и вообще, онъ рукописей не читаетъ. Это дѣло редакцій».

Я прочелъ и задумался: невѣденіе-ли тутъ, или безсердечіе?

Потомъ на минуту мелькнула злая мысль: «Чтобы вы запѣли, сударыня, если бы очутились на моемъ мѣстѣ и узнали, какъ редакціи читаютъ рукописи?»

Затѣмъ наступила апатія, безразличіе полное. Часовъ въ 7 вечера сынъ хозяйки потащилъ меня на берегъ Волги. Бѣдемъ въ трамваѣ. На одной изъ остановокъ вошелъ въ вагонъ господинъ съ книгой въ рукахъ. Вошелъ и скромно усѣлся въ уголокъ. Сидитъ и глазъ не поднимаетъ, но лицо живетъ тонкой игрой.

— Знаете, кто это? — спрашиваетъ меня сынъ хозяйки.

— Кто?

— Это,—Ч. Писатель нашъ.

Гордо звучало это «нашъ».

— Вы ошибаетесь,—говорю я:—Я вотъ только сегодня утромъ получилъ письмо, гдѣ мнѣ пишутъ, что Ч. уѣхалъ въ Самару.

— Ну, вотъ: еще бы ошибиться. Сколько лѣтъ его знаю.

Можетъ быть, г. Ч. не былъ виноватъ ни душой ни тѣломъ: только что вернулся изъ Самары и не знаетъ, что ѣдетъ въ вагонѣ съ неудачникомъ, котораго бьютъ со всѣхъ сторонъ.

Можетъ быть, но уже побитый такъ чувствительно на первыхъ же шагахъ двумя редакціями, я, естественно, склоненъ былъ думать, что меня обманули: почему мнѣ прислуга не сказала, что онъ уѣхалъ въ Самару?

У меня кружилась голова: «Да, я сейчасъ пойду и спрошу: вы давали своей супругѣ право расписываться за васъ, что «вообще, вы рукописей не читаете?» Вы давали такое право или нѣтъ?»

Я ожидалъ остановки трамвая. Итти во время быстрого хода на своихъ ходуляхъ—это значило бы рисковать пошатнуться и повалиться на какогонибудь пассажира.

Вотъ и остановка. Я всталъ. Но что это? Пока я всталъ—Ч. уже вышелъ изъ вагона и на моментъ остановился на тротуарѣ,—посмотрѣлъ въ одну сторону, въ другую, точно раздумывалъ, ку-

да ему итти. А пока я вышелъ—онъ уже пошелъ. Минуты три я гнался за нимъ. Разъ даже окликнулъ: г. Ч.! Онъ не слышалъ и не мнѣ было утнаться за его быстрой, легкой походкой.

Вскорѣ онъ скрылся въ переулокъ. Я постоялъ-постоялъ и отправился домой.

Дома часа три старался избавиться отъ нѣчто—и не могъ. Лежалъ, то на спинѣ, то на бокахъ, то, наконецъ, внизъ лицомъ, но не при одномъ изъ этихъ положеній не могъ отрѣшиться отъ образа: все мнѣ видѣлось лицо писателя, которое въ вагонѣ разыгрывало симфонію аллегоричной грусти.

И думалось:

— Скромница! Сидитъ и не смотритъ: ручки на книгѣ сложены и глаза внизъ потуплены—барышня! Нечего смотрѣть, когда знаетъ, что всѣ на него смотрятъ: «*Нашъ писатель*»! Упивается, а аллегоріей подчеркиваетъ: «смотрите, какъ мы недурны». Ахъ, жизнь-жизнь: какая ты необъятная, чудовищная сцена!

Не суждено мнѣ было спать въ эту ночь.

Къ 12 часамъ я уже совсѣмъ расхлябился. Бѣдные, литературные генералы! Живутъ и не знаютъ, какъ имъ иногда попадаетъ отъ мелкихъ, литературныхъ сошекъ. Можетъ быть, г. Ч. въ исторіи со мной былъ чище агнца,—а я съѣлъ и закатилъ на бумагѣ такую истерику:

«Порываетъ дико вить, по звѣриному, прок-

линять—я молчу. Мнѣ кажется, что стоитъ дать вырваться изъ груди хоть одному звуку—вой и проклятья польются безъ удержа. Плакать? Не умѣю—нѣтъ слезъ. Молиться? Кажется, что не имѣешь въ себѣ такой вѣры, когда бы молитва не казалась ложью. О, этотъ видѣнный мной литературный генералъ! Онъ первый изъ того невѣдомаго мнѣ міра и мое страстное стремленіе хотѣть сквозь строй идти въ этотъ невѣдомый міръ, кажется мнѣ теперь смѣшнымъ. Живая мысль, неужели ты меня еще обманешь, какъ хочешь обмануть сейчасъ, говоря, что по одному нельзя судить о всѣхъ. Ты лжешь: тотъ міръ, гдѣ есть одинъ недостойный, уже не святой міръ. Ты лжешь, говоря, что только литературный міръ—уголокъ, гдѣ можно дышать чистымъ, ничѣмъ неотравленнымъ воздухомъ! Душно: не хватаетъ благородства! Темно: меркнетъ свѣтъ. Больно, ибо было что то въ душѣ великое, а теперь оно медленно-медленно разлагается, уступая мѣсто пустотѣ. Мысль, ты лжешь—я съ ужасомъ чувствую, что когда это «что-то» разложится совсѣмъ, въ душѣ окажется безумная пустота, съ которой жить невыносимо, чудовищно. О, не уподобляйте всей благодати свѣтлаго Божьяго міра мерзости запустѣнія, гдѣ одинокіе чувствуютъ себя, точно человѣкъ заблудившійся въ пустынѣ ночной и холодной!»

А потомъ я читалъ рассказы Ч. и другихъ. И то, что своихъ положительныхъ героевъ ав-

торы такъ щедро надѣляютъ великодушіемъ своего Я,—успокоенія я искалъ въ печатномъ словѣ и находилъ только горечь.

— Боже мой, какъ они на бумагѣ чутки, предусмотрительны, справедливы, а въ жизни... Вы рукописей, вообще, не читаете? да? Позвольте! Вы должны читать. Обязаны читать. Если вы рукописей не будете читать—всѣ ваши прекрасныя слова тусклы и противны, какъ стертыя, загаженныя монеты. Если вы человѣку навязывали сотни книжныхъ истинъ и не дадите ему одной—голодному хлѣба, утопающему его спасенія,—онъ вправѣ думать, что вы его обманули и унизили. Онъ вправѣ васъ спросить: вы что же—учите, или только еще учитесь? *)

Я читалъ всю ночь напролетъ и бросилъ, когда наступающее утро горѣло въ зенитѣ своей красоты.

Я смотрѣлъ на розовѣющій воздухъ, на синѣющую даль: и словъ у этой дали не было, а звала къ чему то великому, прекрасному, какъ сама.

— Природа! Природа, когда человѣчество научится понимать твой языкъ?!

А въ памяти ворочалась «даль въ словахъ», даль изъ стертыхъ и загаженныхъ монетъ—то

*) Проблема, которую нашъ литературный міръ, еще никогда, какъ слѣдуетъ не думалъ рѣшать. Горькій, когда то коснулся этого—но такъ: походить «вокругъ да около» и забыть.

туманная, наводящая на одно только заключение, что человекъ и самъ то хорошо не видитъ того, о чемъ говорить, но хочетъ увѣрить другихъ, что это—красота, то жалко-безпомощная до того, куда и итти не стоитъ.

— А вѣдь, зовутъ. Зовутъ и нестѣсняются. Поднимите брошенные, затоптанные великіе заветы Великаго Человека, ибо прекраснѣ Его вы ничего не сказали и не скажете; поднимите и примите ихъ полнотой совѣсти, цѣлиной души и, только съ ними идите въ даль, и только съ ними зовите за собой: безъ нихъ вы лжете и толчетесь на мѣстѣ!

... блаженъ, кто ищетъ человека,
ибо онъ узритъ... чело-вѣка нашего.

Я былъ и раздавленъ, но «нѣчто» во мнѣ все еще чего-то хотѣло и толкало меня на новые сюрпризы.

Написалъ я одной поэтессѣ, которая помѣщала свои стихи въ «В.»

Писалъ и думалъ: можетъ быть, женщина окажется почеловѣчнѣ.

Просилъ, не можетъ-ли она, какъ нибудь выволить меня изъ бѣды. Поэтесса отозвалась.

Она писала мнѣ, что сама сдѣлать ничего не можетъ, но даетъ мнѣ совѣтъ сходить къ одному присяжному-повѣренному, который, «какъ» человекъ—онъ очень добрый; другъ-пріятель съ

однимъ крупнымъ издателемъ въ Нижнемъ; благодаря огромной практикѣ—богатъ; состоитъ со-трудникомъ мѣстныхъ газетъ».

Въ заключеніе увѣренность: онъ вась изъ бѣды выручитъ.

Милая женщина, не забывайте никогда, что мужчины «очень добры» только къ хороше-нымъ женщинамъ, да еще съ плюсомъ, что та-кая женщина—поэтесса!

Къ четыремъ часамъ этого же дня я отпра-вился «къ доброму человеку»

Адвокатъ былъ занятъ съ кліентомъ и мнѣ пришлось долго ждать.

У него богатая пріемная. А я одѣтъ былъ да-леко не богато, а посему «натасканная» прислу-га предложила мнѣ ожидать въ передней, гдѣ даже не имѣлось стула.

Переминаясь на больныхъ ногахъ я стоялъ, заглядывая въ роскошную обстановку пріемной и спрашивалъ себя: зачѣмъ я пришелъ сюда?

Какъ не соблазнительно былъ расписанъ по-этессой адвокатъ, но въ то, что онъ меня изъ бѣды выручитъ, я не вѣрилъ: послѣ описанныхъ неудачъ въ Нижнемъ у меня глубоко засѣло пред-чувствіе, что въ этомъ городѣ я ни отъ кого по-моши не получу.

Хотѣлось уйти—и не уходилъ. Потомъ понялъ. Глядѣлъ на обстановку и думалъ:

— Бейте, чортъ вась возми. Вотъ я стою—унижайте, а униженный посмотреть: насколько

вы упали и увидить—насколько онъ поднялся самъ. Я подожду. Нужно убѣдиться: оскотинѣли ли хваленый человѣкъ отъ комфорта, или нѣтъ.

Наконецъ адвокатъ вышелъ и, проводивъ своего кліента, замѣтилъ меня:

— Чѣмъ могу служить?

— Я къ вамъ по дѣлу,—неопредѣленно началъ я.

Онъ меня любезно оборвалъ:

— Пожалуйста въ кабинетъ.

— Я вамъ и здѣсь поясню.

— Что вы? Развѣ здѣсь мѣсто? Меня признать, очень смутило, когда я засталъ васъ ожидающимъ меня въ передней: для этого у меня пріемная. На этотъ счетъ я прислугѣ сегодня же сдѣлаю внушеніе!.. Ну-съ, пожалуйста въ кабинетикъ: тамъ поуютнѣе.

Онъ меня мягко взялъ подъ руку и повелъ. На ходу спрашивалъ:

— Что у васъ съ ногами? Увѣчье?

Меня кольнуло: вотъ она изъ какаго источника любезность-то!

— Нѣтъ, хроническій ревматизмъ.

— Гмъ... Печально, очень печально для васъ.

Кабинетикъ дѣйствительно былъ очень уютенъ, но на кабинетъ дѣлового человѣка походилъ мало: въ стремленіи ошарашить кліента обстановкой немного пересолили—кабинетъ забили чрезмѣрнымъ количествомъ мебели и различныхъ бездѣлушекъ.

Молча я подалъ адвокату письмо поэтессы.

Съ первыхъ же строкъ онъ улыбнулся, улыбка ушла и я: должно быть поэтесса изъ «хорошенькихъ».

Онъ прочелъ и въ раздумѣ бросилъ:

— Такъ... Но объясните, пожалуйста, чѣмъ могу помочь вамъ?

Я пояснилъ и протянулъ ему двѣ тонкихъ тетради.

— Чтожъ, давайте свои рассказы. Я посмотрю съ удовольствіемъ, а если для васъ чтонибудь можно будетъ сдѣлать—сдѣлаю съ превеликимъ удовольствіемъ!*) Зайдите ко мнѣ черезъ недѣлку; тамъ видно будетъ, какъ мнѣ съ вами быть.

Я поблагодарилъ за участіе и отправился домой.

На другой день хозяйка напомнила мнѣ о платежѣ за комнату и столъ. Я попросилъ обождать. Томительно тянулась недѣля. Прошла. Пошелъ я къ адвокату въ сквернѣйшемъ состояніи духа: думалась, что этого господина я больше не увижу, а получу черезъ прислугу письмо: «Помочь, молъ, вамъ ничемъ не могу».

Такъ и вышло. Отворяя дверь, прислуга заявила:

— Барина дома нѣтъ.

— А когда онъ будетъ?

— Не знаю. Онъ уѣхалъ на дачу. А какъ ваша фамилія? Я назвалъ.

*) Даже подчеркнуть!

— Погодите. Тамъ вамъ что то есть.

Ушла, вернулась черезъ минуту и вручила мнѣ письмо и мои рассказы.

У меня начали подкашиваться ноги. На площадкѣ лѣстницы стоялъ диванъ, съ трудомъ я дотащился до него, присѣлъ и, глазами страшной тоски, утратившей послѣднюю надежду на жизнь, смотрѣлъ на не заклеенный конвертъ и не видѣлъ, что онъ совсѣмъ адресованъ не на мое имя.

— Не удалось,—проносилося въ головѣ,—не удалось. Ты хитрилъ, а не удалось.

Давая читать адвокату письмо поэтессы — я принималъ въ расчетъ, что не легко отказать просителю сразу, когда въ только что прочитанномъ письмѣ пишется, что ты «очень хороший человѣкъ» и т. д.

Но не упускалъ я изъ виду и того, что если люди не могутъ отказать лично, они вывернутся письменно: отсюда и были мои опасенія, что адвокатъ отъ меня отдѣлается письмомъ.

Я долго сидѣлъ. Я остро думалъ, а въ ушахъ звенѣло: надо умирать. Вотъ ужъ и конецъ. Бѣжалъ къ Горькому, но увя, не поймалъ вѣтра въ полѣ.

Потомъ я всталъ—уже съ силой, съ подъемомъ:

— Чтожъ, если ужъ конецъ, лучше принять его съ мужествомъ. Разверни бумажку и посмотри, какъ люди ухитряются быть палачами:

пальцемъ до тебя не коснуться и собственными руками захлеснешь себѣ петлю на шею.

И тутъ только я замѣтилъ, что письмо не на мое имя: оно было на имя секретаря одной редакціи.

Я позвонилъ и говорилъ той же самой прислугѣ:

— Вы ошиблись. Письмо не мнѣ.

Она не взяла.

— Ну, вотъ. Вамъ велѣно передать.

Тогда я вынулъ изъ конверта листокъ бумаги и прочелъ:

«Многоуважаемый, Николай Ивановичъ. Отъ подателя сего письма прошу принять его рассказы. Интересенъ рассказъ «Изобрѣтатель», а въ особенности «Не отъ міра сего». Оба рассказа вполне достойны напечатанія. Авторъ ихъ—бѣдный, больной человѣкъ и намъ надо его и его дарованіе поддержать. Зная Ваше доброе сердце, надѣюсь, что вы облегчите участь несчастнаго человѣка.

Остаюсь преданный Вамъ

А. В. Яв—скій».

Что со мной сдѣлалось?! Я не вѣрять своимъ глазамъ; еще нѣсколько разъ перечиталъ... и заплакалъ.

Это были въ моей жизни первыя слезы: слезы радости!

Безпомощный передъ призракомъ нужды, забитый физическимъ недугомъ, я не выдержалъ

незнакомаго мнѣ до той поры чувства, что нашлись все таки люди, которые думаютъ обо мнѣ, хотятъ принять участіе въ моей судьбѣ; я не выдержалъ и заплакалъ.

Первыя слезы радости!

Съ ними, смахивая ихъ съ глазъ, я заковылялъ въ редакцію В. и во всю дорогу мучился стыдомъ за гадкое чувство, съ какимъ шелъ къ адвокату: вотъ видишь, вотъ видишь, какъ не хорошо относится съ недоуверіемъ къ человѣку, когда его не знаешь. Не забывай этого урока!

Около редакціи я немного поостылъ: припомнилъ стычку съ редакторомъ-издателемъ «В.»

Но еще разъ перечиталъ письмо, выхватилъ фразу: «Оба разсказа вполне достойны напечатанія» и рѣшилъ, что такъ увѣренно высказывающійся человѣкъ, вѣроятно, и въ самомъ дѣлѣ съ большимъ вліяніемъ.

— Такой, какъ нибудь загладить.

Вошелъ. Передалъ секретарю письмо. Редактора, на мое счастье, на лицо не было. Прочиталъ секретарь, поглядѣлъ «на несчастнаго» и пообѣщалъ:

— Постараюсь устроить. Зайдите черезъ недѣлку.

Недѣля у меня пролетѣла, какъ мигъ: съ утра до глубокой ночи писалъ. А легъ спать— не спалось. Волновала фраза адвоката: «надо намъ его и его дарованіе поддержать».

Дарованіе!

Какой небесной музыкой звучало это слово для меня. Сколько пережито и на родинѣ и здѣсь, чтобы услышать это слово?!

Соблазнительныхъ плановъ я себѣ не строилъ; наоборотъ, внушалъ, что мнѣ предстоитъ много учиться, читать, упорно работать надъ собою.

И вѣрилъ, что возможность къ этому мнѣ дадутъ адвокатъ и его друзья.

Недѣля прошла. Сердце замирало, когда я шелъ въ редакцію. Пробовалъ себя успокаивать:

— Глупое. До чего ты напугано. Что можетъ особенно страшнаго случится теперь?

Томили меня темныя предчувствія, но, наивный человѣкъ, если мнѣ было сказано: «Постараюсь устроить»,—я уже вѣрилъ, что «постараются».

Явился въ редакцію. За недѣлю отъ бессонницы и напряженія надъ работой я осунулся сильно. Секретарь это замѣтилъ.

— Вы очень плохо выглядите.

Потомъ подалъ мнѣ мои разсказы и, тономъ извиненія, заявилъ:

— Не можемъ принять. Сейчасъ война, ярмарка началась, совершенно некуда втиснуть вашихъ вещей.

Онъ говорилъ еще что-то, но я уже его не слушалъ: постоялъ-постоялъ и, точно во снѣ, тихо пошелъ къ выходу.

Въ крайнемъ отупѣніи я добрался до дому.

Не было ни мысли, ни какого либо опредѣленнаго чувства, кромѣ одного желанія: лечь отъ страшной усталости. Но, какъ говорятъ, одной бѣды никогда не бываетъ съ человѣкомъ, такъ случилось и со мной.

Хозяйка не дала мнѣ даже довалиться до постели:

— Я къ вамъ опять: деньжонокъ бы!

— Не имѣю,—отозвался я.

— А когда будутъ?

— Не знаю.

— Ну, такъ вы сегодня же поищите себѣ другую комнату. Вы человѣкъ больной, ненадежный. Чего съ васъ взять? У меня на ваше мѣсто есть надежный квартирантъ.

Тутъ только я, точно проснулся. Успокоилъ хозяйку, что въ долгу у ней не останусь и отправился къ адвокату.

Засталъ его дома. Первый разъ въ жизни приходилось такъ прямо просить и, пришибленнымъ голосомъ я высказался:

— Въ редакціи насчетъ рассказовъ—отказъ. Хозяйка за столъ и комнату требуетъ деньги. У меня ничего нѣтъ.

Адвокатъ... вдругъ нахмурилъ брови и рѣзко началъ меня отчитывать:

— Знаете что, молодой человѣкъ? Когда я былъ студентомъ, я былъ тоже бѣденъ и пробивался мелкой работой въ журналахъ. И пережилъ такое положеніе: мы съ женой ютились,

валялись, какъ собаки, въ грязномъ и холодномъ углу! Да. Но... протекціи я все таки ни у кого не искалъ. Теперь я выбился изъ нищеты, живу, какъ человѣкъ, но... помогать вамъ все таки не могу. У насъ до чорта различныхъ филантропическихъ, благотворительныхъ учреждений и почти во всѣхъ я состою членомъ. Это меня избавляетъ отъ повинности къ вамъ. Что вы мнѣ теперь скажете?

Я былъ пораженъ. «Очень добрый человѣкъ—и такъ сразу?!»

Я былъ пораженъ и во всѣ глаза смотрѣлъ на этого нагло-торжествующаго надъ совершенно беззащитнымъ человѣкомъ хама.

Вихремъ кружились мысли:

— Ты нуждался, но должно быть, *плохо нуждался*, когда будучи *человѣкомъ* *) забылъ о томъ, какъ нуждаются. Ты нуждался затѣмъ, чтобы отточить клыки и когти на нуждающихся? Большая ли честь такому *человѣку*? Ты имѣешь ярлыки члена многихъ благотворительныхъ обществъ? Приобрѣлъ ихъ затѣмъ, чтобы имѣть репутацію «очень добраго человѣка»—обманулъ всѣхъ и хочешь еще обмануть, что этими ярлыками избавленъ отъ повинности къ нуждающимся вишь этихъ обществъ? Лжешь!

Вихремъ кружились мысли, но едва я произ-

*) Какое понятіе о «человѣкѣ»? Такое-ли понятіе о «человѣкѣ» адвокатъ примѣнялъ въ судѣ? Нижегородцамъ это должно быть знакомо.

несъ нѣсколько словъ, тихо, съ дрожью въ голосъ: «Кому такъ говорите? Если бъ я былъ здоровъ... Вообразите себя на моемъ мѣстѣ» — какъ адвокатъ очевидно уже опомнился. Онъ брезгливо поморщился и... заговорилъ много мягче:

— Да, ваше положеніе ужасное. Положительно не знаю, что съ вами дѣлать!

Помолчалъ и... вдругъ:

— Знаете что? Если строго разобраться: вась нельзя будетъ счесть тунеядцемъ, когда вы будете жить уличной милостыней. Такому, какъ вы, всѣ подадутъ: сразу видать, что вы не алкоголикъ, а истинно несчастный, больной человекъ.

Я жутко похолодѣлъ. Я почувствовалъ, что никогда еще я не ступалъ на такую высоту страданія—и глазами этого страданія я впился въ адвоката; я ощущалъ, что оттого, что мы смотримъ другъ на друга такъ упорно,—между нами создается необычайная тяжесть и острота, что адвокатъ страшно злиться и будетъ злиться, пока я не оторву отъ него своего взгляда, и не могъ оторвать.

Я смотрѣлъ и медленно повторялъ:

— Нѣтъ, просить милостыни я не могу. Нѣтъ, просить милостыни не могу.

Онъ пожалъ плечами и опустилъ внизъ глаза:

— Почему?

Опустилъ свои и я—съ огромнымъ облегче-

ніемъ отъ необычайной тяжести и остроты; какая-то большая, темная, внутренняя сила, внешне возбужденная, вновь засыпала.

Мысленно я торжествовалъ: «Что, выкусили? а? Первый—очи дому? Значить твоя сила не сила»—вслухъ говорилъ:

— Вы спрашиваете: почему не могу милостыни просить? Объ этомъ лучше спросите себя.

Онъ вновь пожалъ плечами.

— Положеніе! Жить вамъ буквально нечѣмъ, но доживать свой вѣкъ человеку, какъ-никакъ, а надо.

Почему «надо»? И если уже явилось признаніе за человекомъ его права на жизнь, то что за признаніе: «Какъ-никакъ»? *). Адвокатъ задумался. А я въ это время тоже кое о чемъ поразмыслилъ.

Счастье быть «въ уютномъ кабинетикѣ» я стало быть имѣлъ только одинъ разъ. Кабинетъ для клиентовъ, а не для нуждающихся; для тѣхъ—съ кого можно содрать, заработать, а для просителей—ихъ не надо пускать дальше порога своей квартиры: мы объяснялись буквально у входной двери!

*) Вотъ, когда искренно высказываются такіе «прогрессивные»! Кому онъ въ Нижнемъ не извѣстенъ, какъ «дѣятель»? Не помню точно—въ 1908 или 9 году изъ газетъ узналъ, что онъ высланъ изъ Нижняго. Не за благо человека такіе борятся, а изъ своихъ корыстныхъ и тщеславныхъ цѣлей,—и скатертью такимъ дорога!

Про пріемную адвокатъ тоже, должно быть, забылъ. То грозилъ прислугѣ строгимъ внушеніемъ, что въ передней у него не объясняются, но съ момента, когда узналъ, что это не кліентъ, а проситель, нисколько не смущается объясненіями въ передней.

Я не чувствовалъ униженія: я изучалъ незнакомый мнѣ міръ людей.

Адвокатъ наконецъ, надумался... быть человекомъ!

— Вотъ что! Не просить же вамъ и въ самомъ дѣлѣ милостыню на улицѣ, или спускаться до героевъ М. Горькаго и доживать съ ними свой вѣкъ «На днѣ». Мы сдѣлаемъ такъ: вы обождете еще съ недѣлку, а я поговорю со своими пріятелями. Одинъ я для васъ ничего не могу сдѣлать, ну, а сообща что нибудь да придумаемъ. Обождете?

Мнѣ ничего не оставалось, какъ покорно согласиться:

— Къ хозяйкѣ я безъ денегъ не въ силахъ явиться, но если вы мнѣ дадите немного денегъ—я обожду.

— Гдѣ же вы обождете?

— Гдѣ нибудь. Теперь лѣто.

— Ну, ладно. Какъ нибудь, промотаетесь. Во всякомъ случаѣ,—это послѣднее ваше мытарство: вѣроятно, я устрою васъ письмоводителемъ къ одному пріятелю-нотариусу; если къ нему не удастся—хотя этого не думаю,—я со-

беру для васъ денегъ, на которые бы вы могли прожить нѣсколько мѣсяцевъ. А за это время, несомнѣнно, какое нибудь мѣсто вамъ разыщемъ.

Адвокатъ вынулъ кошелекъ и, порывшись въ немъ, сунулъ мнѣ трехъ-рублевку.

— Ну, до свиданія. Съ Богомъ! Не унывайте! Вѣрьте въ людей, что пропасть вамъ не дадутъ.

Онъ тепло пожималъ мнѣ руку, лицо его посвѣтлѣло—ледъ во мнѣ растаялъ, я благодарно смотрѣлъ на него и зато, что «пропасть мнѣ не дадутъ», и зато, что онъ мнѣ далъ возможность полюбоваться лицомъ—внезапно ображеннымъ въ лицо человека.

— Какими, должно быть, прекрасными людьми мы были въ это время!

Отъ адвоката я пошелъ въ городской садъ; забился въ самый его уединенный уголокъ и пробылъ въ немъ до тѣхъ поръ, пока сторожъ не попросилъ объ выходѣ.

Пошелъ въ трактиръ—закусилъ и сидѣлъ за чаемъ до закрытія.

Когда выбрался изъ него—шумная и оживленная улица днемъ и вечеромъ, была тиха и безлюдна.

Стало жутко. Я впервые почувствовалъ, что это за ужасъ—городъ ночью, когда онъ въ тишинѣ и безлюдѣ, для человека не имѣющаго въ немъ крова.

Я прошелъ улицу, другую и присѣлъ въ концѣ

ея на скамью. Ночной сторожъ минутъ десять смотрѣлъ на меня и попросилъ:

— Сидѣть въ ночное время у дома нельзя. Идите своей дорогой.

Я пошелъ. Еще двѣ улицы и вновь присѣлъ. И отсюда черезъ пять минутъ попросилъ городской.

Я присѣлъ въ третьемъ мѣстѣ—тоже самое.

Я думалъ пойти домой и не рѣшался: хозяйка меня ждетъ съ деньгами, а я съ чѣмъ приду?

Я видѣлъ ея тотъ скверно-подозрительный, жадный взглядъ, какимъ она смотрѣла на меня, когда я началъ жить въ долгъ, ту гаденькую боязнь, что ее хотятъ обмануть: «Нажить и съѣхать»,—и не въ силахъ былъ побороть отвращенія.

Ноги болѣли нестерпимо, усталость охватывала до изнеможенія, а меня гнали изъ улицы въ улицу.

Пять-десять минутъ присѣсть—подозрительные взгляды: «зачѣмъ присѣлъ? Что ему надо? Это, должно быть, не просто»—и болѣе или менѣе вѣжливое:

— Сидѣть въ ночное время у дома нельзя. Идите своей дорогой.

Отъ совсѣмъ грубыхъ окриковъ меня спасалъ приличный костюмъ.

— Будьте вы честнѣйшій въ мірѣ человѣкъ, но если хоть одну ночь вы вынуждены будете провести въ городѣ безъ ночлега, вы почув-

ствуете, какъ въ васъ заподозрятъ вора, врага общественной безопасности не только грубый дворникъ, любой городской, но стѣны изъ камня и дерева: будьте вы честнѣйшій человѣкъ въ мірѣ, человѣкъ изъ плоти и крови, человѣкъ съ частичкой божества—разума и души,—но васъ смертельно оскорбитъ не только человѣкъ, но каждый кирпичъ въ стѣнѣ, каждое бревно!

И я ходилъ, гонимый ходилъ, смертельно оскорбленный, до смерти униженный:

— Человѣкъ, до чего ты унижился!

Но безмятежно спали «человѣки» въ своихъ каменныхъ и деревянныхъ норахъ и берлогахъ, спали рабы своего господина изъ камня и дерева и не думали, что даже звѣри не унизили себя до охраны своихъ норъ и берлогъ по ночамъ.

Я ходилъ:

— Охраняйте и охраняйтесь! Шире и выше кладите города свои—совершайте всѣ виды преступленія надъ человѣкомъ по одиночкѣ и огуломъ,—обществомъ, а человѣкъ платитъ и будетъ платить вамъ тоже всѣми видами преступленія. Охраняйте и охраняйтесь! Прячьтесь за стѣнами, тщательнѣй запирайтесь, трепещите за крѣпость стѣнъ своихъ и дверей, ибо, если не дано вамъ создать жизни съ незапертыми дверями по днямъ и ночамъ—значитъ, охраняйте и охраняйтесь! Небо, какъ, должно быть, тебѣ жалки рабы твои! Они заперлись, затворились отъ воздуха, они закрылись кусками матерій отъ свѣта: они

задыхаются, чахнутъ, но не отопрутся и оконъ не откроютъ. Небо, можетъ быть, ты Небо даже никогда не увидишь великой красоты, когда они перестанутъ охранять и охраняться! Городъ. Городъ! Пойми и почувствуй весь свой ужасъ.

Свѣтало. Зашевелился трудовой муравейникъ. И тутъ только городъ позволилъ мнѣ отдохнуть. Я присѣлъ около грязной пекарни, локтями уперся въ колѣна, лицо скрылъ въ рукахъ—и такъ сидѣлъ, удерживаясь, чтобы не стонать отъ боли въ ногахъ.

Въ девять утра я поѣхалъ въ больницу. За одну ночь для меня стало ясно все безуміе того, чтобы провести недѣлю на улицѣ при моемъ состояніи здоровья. Я забылъ объ адвокатѣ, о томъ, что черезъ недѣлю конецъ моимъ мытарствамъ, я забылъ о томъ, какъ и зачѣмъ я очутился въ этомъ городѣ—я помнилъ только о томъ, что у меня въ карманѣ есть паспортъ, въ моемъ тѣлѣ болѣзнь, въ городѣ больница.

Я записался и до своей очереди—сидѣлъ въ углу амбулаторіи и устало грезилъ, что скоро я буду отдыхать на больничной койкѣ, не буду видѣть скверно-подозрительныхъ, жадныхъ глазъ, никто мнѣ не напомнитъ о деньгахъ.

Врачъ меня не принялъ:

— Противъ такой застарѣлой формы ревматизма больничное леченіе безсильно.

— Мнѣ жить негдѣ,—сказалъ я:—Я на улицѣ.

Онъ развелъ руками:

— Это все равно. У насъ неприютъ хрониковъ.

Гдѣ «приютъ хрониковъ» онъ не сказалъ, я не спросилъ—я поѣхалъ домой.

Хозяйка встрѣтила меня молчаливымъ вопросомъ.

Я покачалъ головой:

— Денегъ нѣтъ.

Съ злымъ отчаяніемъ она замахала руками:

— Какъ нѣтъ? Что же это такое? У меня даже на обѣдъ ни копѣйки. У меня дѣти останутся голодные.

Я ее остановилъ. Я сказалъ ей, что черезъ недѣлю у меня будутъ деньги, мѣсто, что мнѣ это обѣщано адвокатомъ такимъ-то и сунулъ ей оставшіеся у меня два рубля:

— Вотъ вамъ на обѣдъ.

— Адвокатъ.... Я слышала...

— Что она слышала—я не хотѣлъ слушать.

Я шелъ въ свою комнату, а она слѣдовала за мной и лъстиво говорила:

— Я слышала... Это такой большой человекъ! Какой вы счастливый: такіе знакомые! А у меня вотъ нѣту. Сына бы вотъ куда лучше устроить... За 35 рублей тянетъ...

Не раздѣваясь—прямо въ костюмъ и даже въ пальто я повалился на постель...

Она пошла изъ моей комнаты,—такъ ласково журчала, какъ кошечка:

— Подгуляли? Ахъ, вы... вотъ ужъ никогда не ожидала. Ну-ну, спите!



Спокойно я провелъ недѣлю. Читалъ. Писалъ новый рассказъ. Думая о пережитыхъ передрыгахъ—думалъ о нихъ съ чувствомъ, когда уже что нибудь тяжелое прошло и повтореніе не ожидается:

— Да, что было—петля совсѣмъ. И вдругъ... Въ сущности, человѣку никогда не слѣдуетъ отчаяваться. Привалить сразу такое—о чемъ и не мечталъ. Вотъ ужъ никогда не думалъ: мѣсто писмоводителя у нотариуса!

Шелъ къ адвокату безъ малѣйшей тѣни сомнѣній.

Позвонилъ, и, когда дверь начала осторожно приотворяться, но ничьего лица еще не было видно, спросилъ:

— А. В., дома?

— Я самъ на лицо. Войдите.

Я шагнулъ черезъ порогъ. Предо мной стоялъ г. Я. Тепло я было потянулъ ему свою руку, но на полдорогѣ она остановилась и тяжело упала внизъ. Руки адвоката были спрятаны за спиной, на меня онъ смотрѣлъ холодно-злыми, насмѣшливыми глазами, а потомъ, рѣзкимъ и враждебнымъ тономъ, точно онъ видитъ человѣка впервые, но уже предубѣжденъ противъ визита этого человѣка—такимъ тономъ онъ остановилъ на полдорогѣ мою тепло къ нему потянувшуюся руку:

— Что скажете?

Если бы предо мной неожиданно раскрылась

пропасть, въ которую я долженъ неминуемо упасть, я былъ бы менѣе ошеломленъ и изумленъ.

И первое мое движеніе было выйти изъ его квартиры—выйти молча,—но не хватало силъ: въ передней стоялъ стулъ, я опустился на него.

Онъ переспросилъ:

— Что скажете?

Я молчалъ. Подавленный этой чудовищной игрой,—бросать человѣка къ двумъ острымъ крайностямъ,—то создавать ему иллюзіи на жизнь, то ставить лицомъ къ лицу со смертью, дѣлать это внезапно, безъ всякихъ переходовъ, точно съ однимъ звѣринымъ желаніемъ—упиваться муками человѣка отъ этихъ крайностей,—подавленный этой чудовищной игрой, я прежде хотѣлъ крикнуть:

— Что вы дѣлаете? Что вы дѣлаете?

И не могъ. Спазмы давили горло. Немного спустя, я уже только хотѣлъ сказать—тихотихо, безъ ненависти и негодованія, стономъ истерзанной души и всей силой ся убѣжденія:

— Что вы дѣлаете?

Не сказалъ и этого. А онъ медленно, рѣзко отчеканивая каждое слово, точно рѣшилъ не давать мнѣ опомниться, началъ меня добивать: *)

*) Чего у него не хватило—ума или характера довести эту сцену до конца? Мнѣ кажется, чтобы быть последовательнымъ, то г. Я. встрѣчая молчаніе на дважды за-

— Сдѣлать я для васъ ничего не могъ? **)
Потомъ, дарованіе у васъ есть—это несомнѣн-
но! Но существовать литературнымъ трудомъ
вы не будете. Вы гдѣ учились?

— Въ начальной школѣ.

— Это и видно. Безграмотность у васъ страш-
ная. Читая ваши рассказы—я хохоталъ! Пони-
маете? До какихъ живота хохоталъ! Надъ тѣмъ,
какъ у васъ разставлены знаки препинанія и на
какихъ буквахъ сдѣланы переносы. Понимаете?

Немного помолчалъ:

— Позвольте! Это что такое у васъ?

Бортъ моего пальто отвернулся и, изъ боко-
вого кармана торчала рукопись—только что кон-
ченный новый рассказъ, который я захватилъ съ
собою къ адвокату.

Онъ потянулся ко мнѣ и вытащилъ изъ кар-
мана рукопись.

— Ага, новое твореніе! Ну, вотъ, я вамъ сей-
часъ наглядно покажу.

Онъ сталъ про себя читать, отмѣчая каран-
дашомъ.

Это тянулось болѣе пяти минутъ. Я началъ
собою овладѣвать.

данный вопросъ, долженъ былъ бы указать мнѣ молча
на дверь? Тогда, по моему, комедія, была бы блестяще
выполнена до конца!

**) Неужели товарищи всѣ таковы, какъ и самъ. Или...
не хотятъ идти на удочку ловца, который любитъ быть
добрымъ только за счетъ другихъ?!

— Что же передо мной за индивидъ? Какъ
онъ могъ совмѣстить то, что было недѣлю на-
задъ и то, что творить сегодня? «Не унывайте.
Вѣрьте въ людей, что пропасть вамъ не дадутъ».

Что это—лирика безпринципнаго языка, ми-
нутная вспышка сердца безъ соединенія съ со-
вѣстью?

И вдругъ мнѣ стало понятно: изъ какого ис-
точника это «сверхмужество» адвоката, сверх-
мужество спрашивать человѣка послѣ такихъ за-
вѣреній, послѣ того, какъ самъ же просилъ
зайти:

— Что скажете?

Адвокатъ хорошо пообѣдалъ: сытой и нагло-
полупьяной мутой подернулись его глаза.

Онъ одѣтъ былъ въ широкую, ярко-пеструю
рубашку изъ того ситца, что идетъ усиленно на
азиатскіе рынки: родное то, какъ видно, не скро-
ешь—сказывается!

Было въ этомъ человѣкѣ что то тяжелое, за-
таенно-угрюмое, вызывающее непріязнь, и тогда,
когда я его видѣлъ во фракѣ, но фракъ и ма-
неры, очевидно прочно усвоившіяся при ноше-
нии этого атрибута своего сословія, нѣсколько
скрадывали непріязнь тѣмъ, что казали его бе-
зусловно культурнымъ нитомцемъ. Но стоило ему
сбросить фракъ, заразиться сознаниемъ, что стѣс-
няться передъ какимъ то бывшемъ рабочимъ*)

*) Объ этомъ онъ узналъ отъ меня же въ первый ви-
зитъ къ нему.

нечего, что свидѣтелей тутъ нѣтъ, а рабочій, что и гдѣ можетъ онъ сказать, чтобы набросить тѣнь на репутацію одного изъ блестящихъ адвокатовъ Нижняго?! Стоило ему придти къ сознанію, что тутъ можно быть «самимъ-собою», какъ отъ вѣишине культурнаго звѣря не осталось и слѣда.

Свободно изъ подъ рубашки вырисовывались могучая грудь, широкія плечи, а ея своеобразный рисунокъ былъ полнымъ дополненіемъ къ его лицу. Съ изсиня-темнымъ цвѣтомъ кожи, съ крупно-рѣзкими своею жестокостью чертами, съ широкимъ, плоскимъ подбородкомъ, что казалось это лицо чуть-чуть не квадратнымъ—оно всею своею совокупностью теперь говорило о хищникѣ духа.

Для былыхъ временъ трудно было представить себѣ болѣе великолѣпную фигуру на: «Сарынь на кичку»!

Но увы, тѣ времена прошли, но и хищники не потерялись, а приспособились: одна изъ первыхъ скрипокъ общества, хамелеонъ судебныхъ залъ; защищающій не по совѣсти, а по расчету, то обиженнаго, то насильника, политическая фигура—тоже, вѣроятно, изъ первыхъ скрипокъ «оппозиціи», членъ почти всѣхъ филантропическихъ и благотворительныхъ обществъ, другъ пріятель со всѣми, съ кѣмъ выгодно, а если и не выгодно, то нужно,—онъ этотъ, разбойникъ духа, всѣхъ обманулъ и обманываетъ.

онъ сообразно времени осуществляетъ ловко «Сарынь на кичку»!—и онъ же пользуется положеніемъ «очень добраго человѣка», онъ лицо, о которомъ, можетъ быть, многіе отзываются такъ, какъ отзывалась наивная поэтесса!

Да, пока этотъ «дѣлецъ» осквернялъ мою рукопись,—я изучалъ его. Я уже овладѣлъ собою и холодно ожидалъ; а ну, что выкинешь еще?

Наконецъ, онъ оторвался отъ рукописи, всталъ и тыча пальцемъ въ помѣтки карандашомъ, со злымъ смѣхомъ говорилъ:

— Ну, посмотрите, что это за переносы! Боже мой, что это за переносы! Что же вы сидите? Одервенѣли? Я вамъ говорю: посмотрите, что у васъ за переносы.

Я свои «переносы» смотрѣть не желалъ. Онъ уже прямо крикнулъ:

— Вы знаете, что такое «подлежащія и сказуемая»?

Я ему хотѣлъ сказать, что зналъ, но забылъ, что «переносы» не такое уже преступленіе изъ за котораго такъ можно орать, ибо оно легко поправимо, что не удивительно и забыть, если я до своего писательства въ теченіе 14 лѣтъ—въ годъ три-четыре раза держалъ перо въ рукахъ. Я хотѣлъ это сказать—и сказалъ нѣчто другое:

— Не знаю. Ничего я не знаю.

Я боялся умѣстнымъ возраженіемъ отнять у

себя нужное: дать проявить себя этому индивиду до конца.

Онъ понизилъ тонъ, но прибавилъ апломба:

— Не знаете? Ну, вбейте себѣ разъ навсегда въ голову: писатель—есть учитель жизни. А учителемъ вы, конечно, быть не можете. Есть еще литераторы имѣющіе сильный изобразительный талантъ—у васъ нѣтъ и этого. У васъ маленькое-маленькое дарованіе, съ которымъ вы далеко не уѣдете. Ну, что вы на это скажете?

Что я ему могъ сказать?

Несчастный Алексѣй Кольцовъ—ты счастливѣе тѣмъ, что имѣлъ другомъ такую великую душу, какъ Бѣлинскій; несчастный ты счастливѣе тѣмъ, что не живешь въ наше время, не очутился на моемъ мѣстѣ: если мнѣ за переносы такъ влетѣло, то, что было бы тебѣ за твою орографию?!

Не дождавшись отвѣта, адвокатъ меня спросилъ:

— Гдѣ ваша родина?

Я отвѣтилъ.

— Что же вы теперь думаете дѣлать?

— Чего же мнѣ дѣлать?

Онъ съ раздраженіемъ отмахнулся рукой:

— Не понимаете, что ли? Ну, какъ думаете съ собой быть?

— Не знаю.

Этимъ я опять вызвалъ у него крикъ:

— «Не знаю». Отвѣтъ?! Кто же долженъ за васъ знать?

Торжествующій хамъ уже слишкомъ торжествовалъ, а въ моемъ распоряженіи противъ него ничего не имѣлось, кромѣ какъ напомнить ему, чтобы онъ не забывался до глупости. И со смертельно-спокойной и холодной улыбкой я его спросилъ;

— Какъ можно спрашивать съ человѣка моего положенія, какъ онъ думаетъ съ собою быть? Есть положенія, когда человѣкъ за себя не можетъ думать,—нечего думать, когда ясно, что положеніе совершенно безвыходное.

— Гм...—адвокатъ подумалъ:—Гм... этимъ вы хотите заставить, чтобы за васъ думали другіе?

Какъ можно «заставить» такого человѣка, а вообще, что если бы и можно, то я врагъ этого—на этотъ счетъ я рѣшилъ промолчать.

Онъ пожалъ плечами:

— Вы не такъ просты, какъ я раньше думалъ. Но, вотъ что... есть у васъ на родинѣ ктонибудь изъ родныхъ?

Разумѣя подъ родными не братьевъ, а человѣка, я отвѣтилъ, что нѣтъ.

— Сколько стоитъ проѣздъ до родины?

— Пять рублей съ копѣйками.

Я. принесъ изъ пріемной въ переднюю бумагу, чернила и перо, присѣлъ къ столу, написалъ и прочелъ вслухъ.

Вслухъ! Даже и такой дешевенькой добротой не прочь похвастать: смотри, каковъ я!

«Многоуважаемый Федоръ Федоровичъ. По-

датель сего письма бѣдный, разбитый ревматизмомъ челоѣкъ. Я хорошо зная его, свидѣтельствую: положеніе его безвыходное и отчаянное. Ему нужно*) выѣхать на родину. Помогите несчастному челоѣку въ этомъ».

А затѣмъ поясненія:

— Это письмо отдадите чиновнику особыхъ порученій при губернаторѣ. Это мой хорошій пріятель. Онъ вамъ выдастъ билетъ на проѣздъ и полтора рубля денегъ казенныхъ на хлѣбъ. Такъ полагается. Съ голоду, значить въ дорогѣ не умрете!

Потомъ запечаталъ письмо и, вручая его мнѣ, пожелалъ:

— А теперь, до свиданія. Желаю вамъ всѣхъ благъ земныхъ!

Въ послѣдній разъ я взглянулъ на челоѣка изъ незнакомаго мнѣ міра, гдѣ такъ дешево и безцеремонно могутъ отдѣлываться «отъ несчастныхъ».

Я взглянулъ на него съ мыслью: чѣмъ продиктовано его письмо на родину? Жалостью-ли настолько, чтобы она ничего не стоила, или соображеніями, что «несчастный» можетъ полѣзть за помощью еще къ кому нибудь и рассказать, что доброта «очень добраго челоѣка» должна быть подъ сомнѣніемъ?

Потомъ я молча кивнулъ головой и вышелъ изъ квартиры этой незабвенной для меня фігуры.

*) Почему нужно? Зачѣмъ?

Тихо-тихо—не шибче черепахи брелъ я до канцеляріи губернатора.

Тамъ мнѣ пояснили, что по желѣзной дорогѣ бесплатнаго проѣзда до родины мнѣ не могутъ устроить, но по водному сообщенію—въ любой приволжскій городъ.

Я попросилъ до Сызрани: оттуда уже была надежда добраться до родины по желѣзной дороге съ кѣмъ нибудь изъ желѣзно-дорожныхъ служащихъ.

Чиновникъ приказалъ писцу написать о бесплатномъ для меня проѣздѣ въ кассу одной пароходной компаніи—и спросилъ:

— А на пропитаніе въ дорогѣ у васъ есть?

Я отвѣтилъ, что нѣтъ.

— Какъ это вы попали въ такое положеніе?

Я все рассказалъ чистосердечно.

Онъ выдалъ мнѣ полтора рубля казенныхъ:

— Маловато. Вѣдь, ѣхать почти три дня.

Я поблагодарилъ и заявилъ, что достаточно.

Онъ мнѣ далъ еще рубль отъ себя.

— А вы бы попросили у того, кто вамъ далъ письмо ко мнѣ. Слава Богу, онъ не бѣденъ.

Я отмахнулся рукой и, должно быть, мой жестъ сказалъ чиновнику многое: «хорошій пріятель» покачалъ головой!

Я еще разъ поблагодарилъ его и вышелъ изъ канцеляріи.

А черезъ два часа я уже ѣхалъ. Пользуясь

билетомъ IV класса я сидѣлъ на кормѣ парохода на грудѣ канатовъ.

Пассажиры одного со мною класса — большинство мужички, — смотрѣли на меня полунасмѣшливо:

— Что, баринъ, прогорѣлъ?

— А, и вашему брату съ нашимъ братомъ приходится ѣзжать?

А сверху, съ палубы съ любопытствомъ поглядывали на меня пассажиры I и II класса: прилично одѣтый человѣкъ, а гдѣ ѣдетъ?!

За кого они меня принимали? Во всякомъ случаѣ не за того, чѣмъ я въ дѣйствительности былъ.

Я тоже поглядывалъ на нихъ. Холодно безразличныя лица, а все таки смотрятъ: мы любимъ унижать человѣка, пялить глаза на его несчастье — и совсѣмъ не умѣемъ быть людьми!

Быстро плыли берега, то низкіе — съ яркой зеленью, то голыя, безъ растительности, — величественныя своей дикой неприступностью высокіе отвѣсы; день угасалъ въ ярко-розовыхъ краскахъ — непреодоваемая красота ложилась на воду, на песчанья отмели, небо опрокинулось въ Волгу голубой огромной чашей.

И палуба, и пассажиры моего класса — всѣ восхищались, но жаднѣе всѣхъ на всю эту благодать Божьяго міра смотрѣлъ я.

Впервые я ѣхалъ по Волгѣ, впервые видѣлъ эту красоту и не переносима была мысль, что

вѣроятно всего: не увидѣть мнѣ этого великолѣпія вторично, не всмотрѣться въ него, какъ слѣдуетъ.

Стемнѣло. Необъятный, шелковисто-синій пологъ, затканый золотомъ звѣздъ, куполообразно нависъ надъ землей.

Я смотрѣлъ то въ эту высь, то утыкался въ воду: «Куда я ѣду? Гдѣ и у кого найду на родинѣ пріютъ? Негдѣ преклонить свою голову, негдѣ и не на что дать отдыхъ измученной душѣ, недужному тѣлу. Глупая, старенькая, но милая-милая избенка: можетъ быть, тебя новыя владѣльцы уже снесли?»

Поздно. Всѣ пассажиры парохода спятъ — одинъ я все на той же кормѣ, на грудѣ канатовъ.

Все тѣло болитъ и не могу представить, какъ лечь спать, не имѣя даже, какъ мужички, котомки подъ голову, на голыхъ нарахъ IV класса.

Бѣдная моя квартирная хозяйка: къ вечеру ждала и вѣроятно всю ночь прождетъ своего жильца съ деньгами!

Раза два на корму наворачивался матросъ и подозрительно на меня посматривалъ.

Онъ, кажется мнѣ, въ своихъ подозрѣніяхъ не ошибался.

Воды Волги тихо, съ мягкимъ шелестомъ бились о бортъ парохода. Долго я боролся съ силой притяженія этой темной глади: покоя загадочной глубины водъ просило мое жалкое,

забитое недугомъ, тѣло, но протестовала душа своей неутомимой тоской по красотѣ земли, протестовала и говорила: «А Горькій? Ты къ кому ѣхалъ — къ нему? Ну, неудача. Перетерпи, а тамъ, можетъ быть, и встрѣтишься съ нимъ.»

Подъ утро я уже рѣшилъ: до послѣдняго вздоха буду искать этого человѣка. Чтобы меня не ждало, а буду бороться за то, чтобы встрѣтиться съ нимъ.

Это рѣшеніе дало мнѣ миръ, успокоеніе — я дремалъ, сидя на канатахъ.

Подремлю и очнусь. Пароходъ рвется впередъ и впередъ.

— Глупая машина, рвется впередъ и не знаетъ, что нѣтъ въ мірѣ угла, гдѣ бы не лицемерно признавали за человѣкомъ его неотъемлемое право на жизнь. Вотъ я работалъ — высосалъ Капиталъ силу, здоровье и выбросилъ изъ сферы труда вонъ: не нуженъ! Вотъ я ищу права мыслить. Калѣка физически, я, какъ милостыни ищу того, чтобы мнѣ дали возможность отдать свои силы духовныя. Я ищу, и что встрѣчаю? Глупая машина!

А потомъ въ сонное сознаніе вривалось, какъ высшая радость: «а Горькій?!» И хотѣлось кричать:

— Да, да, Горькій! Милый человѣкъ, живетъ и не знаетъ: какими мытарствами искупаютъ вѣру въ него. Милый человѣкъ!

И вѣрилось, что не напрасно я побывалъ въ

Нижнемъ: думалось, что та горькая страничка, которую я вписалъ въ этомъ городѣ собственной кровью въ свою книгу жизни — вписана не напрасно.

Съ улыбкой я припоминалъ г. редакторовъ, Ч., адвоката — и страннымъ мнѣ казалось, что не нахожу въ себѣ къ нимъ даже неприязни.

А потомъ я пришелъ къ заключенію:

— Недостойно человѣка расточать свой гнѣвъ по мелочамъ. Нѣтъ! Отъ мелочей мы себя еще побережемъ!

Кое какъ я добрался до родины. Приютили меня добрые знакомые. Прожилъ я у нихъ около двухъ мѣсяцевъ. За это время, благодаря чиновнику при губернаторѣ я получилъ изъ Нижняго, оставленные у хозяйки, всѣ свои вещи: я ему послалъ деньги — и человѣкъ, видѣвшій меня только разъ, не отказался возиться съ расплатой за комнату, съ отправкой вещей.

А потомъ... потомъ я опять прочелъ въ газетахъ: «Горькій пріѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ пробудетъ продолжительное время». Прочелъ и боялся: а «вдругъ опять утка?» И мучили опасенія: а вдругъ и въ самомъ дѣлѣ пріѣхалъ — пожить и уѣхать? А тогда ждать новаго случая Богъ знаетъ сколько?

И не выдержалъ. Достали мнѣ добрые люди денегъ на дорогу — я помчался въ Петербургъ.

Это было въ октябрѣ 1904 года.

Англійскій публицистъ Е. Н. Диллонъ въ «Иностранной критикѣ» о Горькомъ говоритъ:

„Россія единственная страна въ мірѣ, гдѣ мыслима такая необыкновенная карьера, какова карьера Горькаго; нигдѣ больше общественныя перегородки не поддаются такъ легко натиску необработаннаго таланта-парія, нигдѣ двери не растворяются такъ широко передъ нимъ, когда онъ стучится въ нихъ во имя науки или искусства. Здѣсь каждая искра таланта, загорѣвшаяся въ дикихъ степяхъ или грязныхъ трущобахъ, привѣтствуется, какъ чистое золото, такъ какъ гуманное сочувствіе ко всѣмъ униженнымъ — основная черта русской интеллигенціи и русскаго народа и каждый готовъ даже на жертвы, лишь бы облегчить имъ путь“.

Такъ-ли это?

Дабы читатель могъ судить — какова на самомъ дѣлѣ русская дѣйствительность, — я расскажу нѣсколько сказокъ изъ русской дѣйствительности, извиняясь за ихъ специфичность: всѣ онѣ съ хорошимъ началомъ и сквернымъ концомъ!

Пріѣхалъ я въ Петербургъ съ наличностью — безъ гроша въ карманѣ. Кромѣ сестры въ этомъ городѣ — никого. Жила она въ убогой квартирѣ — конура въ одну комнатку, — съ мужемъ-алкоголикомъ, который не только не приносилъ ни копѣйки со своего заработка, но пропивалъ и то, что она зарабатывала домовою портняжкою.

Сестра, оказалось, никогда не писала мнѣ правды о своей жизни — на мои вопросы объ этомъ, всегда отдѣлывалась успокаивающей парой словъ: «Ничего живу».

Скверно подѣйствовало на меня такое «ничего».

Гнусный, вѣчно пьяный паразитъ-мужъ и общій, неумолимо-холодный укладъ жизни, придавили сестру до тѣхъ невидимыхъ въ жизни маленькихъ мученицъ, которыя дѣйствительно лучшаго отъ жизни не ожидаютъ и безъ ропота, ибо видятъ бесплодность его, несутъ свои непосильно-огромные кресты.

Несутъ со сжатыми зубами, несутъ съ однимъ мучительнымъ желаніемъ: замуровать на днѣ души своей всѣ стоны, вопли, всю муку своего дикаго существованія.

Послѣ первыхъ привѣтствій, я попытался осторожно покопаться въ душѣ сестры:

— Давненько не видались. Расскажи, какъ жилось и живетъ?

И получилъ отпоръ. Она нахмурилась, лицо пронизалось внутреннимъ свѣтомъ гордой безнадёжности; помолчала и равнодушно бросила:

— Да, не видались давненько. А говорить, — что говорить? Легче отъ этого не будетъ.

На другой день я отправился въ адресный столъ за адресомъ Горькаго въ сильно приподнятомъ настроеніи: волновался уже не за себя, а за участь сестры.

Милая, наивная молодость! Ты не умѣешь, какъ осторожная старость учитывать обстоятельства момента, заглядывать въ будущее, ты смѣшна, но ты и велика тѣмъ, что сердце твое не окаменѣло въ себялюбіи: мое положеніе, какъ положеніе человѣка непригоднаго къ труду, было хуже положенія сестры, а я ѣхалъ и мечталъ, какъ избавлю сестру отъ мужа, дамъ ей возможность отдохнуть.

И свалился съ неба на землю: опять газеты о пріѣздѣ Горькаго наврали.

Не нюхавшій, что за холопство процвѣтаетъ въ литературѣ, не знающій о стаѣ борзописцевъ, сшибающихъ на знаменитостяхъ пятаки, пока знаменитость идетъ въ гору, а когда подъ гору, — тоже пятаки, но уже на томъ, какъ бы свалить корифея съ пьедестала — я былъ придавленъ и недоумѣвалъ:

— Къ чему эти ложныя свѣдѣнія? Кому какая польза отъ того, что въ газетахъ прокричатъ: «Горькій поселился въ Петербургѣ», — а на самомъ дѣлѣ онъ и носа сюда не казалъ?

Когда я вернулся домой, сестра не спраши-

вая, по моему лицу сразу узнала о неудачѣ и, безпомощно развела руками:

— Какъ же будешь? На меня не надѣйся. Сама не голодаю, когда работаю. А работа бываетъ рѣдко. Сидишь безъ дѣла — сидишь голодная и трясешься: а вдругъ за слѣдующій мѣсяцъ нечѣмъ будетъ платить за квартиру?

Я вспыхнулъ:

— И тебѣ не стыдно? Зачѣмъ же ты въ письмахъ приглашала, чтобы я пріѣзжалъ къ тебѣ?

— Я думала, что ты можешь работать.

— Ахъ, вонъ что!

— Что жъ... скрывать не буду. Если бы ты могъ работать — твоего куска не съѣла бы, а легче мнѣ было бы. При тебѣ мой дуракъ такъ бы не расходился.

И сестра поникла головой. Я видѣлъ, что ей тяжело, жалъ меня, но не настолько, чтобы вспыхнувшее отчужденіе прошло совсѣмъ: не легкокъ былъ свой крестъ и прибавлять къ этому кресту обузу въ лицѣ меня, было женщинѣ не по силамъ.

Улегся и мой негодующій порывъ, но острый холодокъ отчужденія не исчезъ и во мнѣ, причиняя шемящую боль.

Да, вотъ она жизнь! Вмѣстѣ росли, вмѣстѣ воздавали восторженную дань утреннему солнцу, изумрудной зелени сада, вмѣстѣ впитывали въ себя всѣ первыя впечатлѣнія бытія — и все-таки

не сроднились настолько, чтобы жизнь впоследствии оказалась не въ силахъ разъединить!

Много лѣтъ не видаться, много лѣтъ таить въ себѣ радость встрѣчи — и встрѣтятся, почувствовать себя другъ-другу въ тягость.

Дикая, чудовищная жизнь, гдѣ юность, свѣтлая святыня человѣка, можетъ быть омрачена скорбью.

Сестра помолчала и предложила:

— Ну, не сердись. Давай обѣдать.

Я отмахнулся рукой и легъ на постель.

Лежалъ день и мучился, есть гдѣ-то Горькій, но не для меня, не мнѣ найти его; онъ для человѣка моего положенія — миражъ!

Безнадежность давила до полной апатіи и примиреніе съ концомъ своего бытія казалось единственнымъ выходомъ.

Лежалъ на другой день — но уже подъ властью другихъ чувствъ: при мысли, что жизнь меня раздавить только, можетъ быть, потому, что мнѣ трудно столкнуться съ нужнымъ человекомъ — поле зрѣнія моего слѣпилось бѣшенствомъ.

— Найду, — твердилъ я съ злымъ чувствомъ: — Найду — во что бы это ни стало! Дойду до униженія, ибо гдѣ возможны униженія во имя сохранения своего я, тамъ не только униженія, но и преступленія должны падать на отвѣтственность общества.

Во мнѣ говорило не упрямство, не то слѣпое

и безразсудное, въ чемъ русскій человѣкъ грѣшитъ иногда до фанатизма, а кровь потомка того крѣпостного раба, который и подъ розгами на конюшнѣ продолжалъ думать про свое завѣтное...

А на третій день, я уже надумался.

Схватился за писателя изъ духовныхъ особъ. На моей родинѣ это былъ одинъ изъ наиболѣе распространенныхъ писателей: не было въ средѣ моихъ знакомыхъ дома, гдѣ бы я не встрѣчалъ «проповѣдей» этого «батюшки».

Коротко я написалъ ему:

«Боюсь побеспокоить Васъ своимъ визитомъ не во время, а поэтому очень прошу сообщить мнѣ: въ какое время могу быть у Васъ. Имѣю къ Вамъ дѣло, съ которымъ связанъ вопросъ всего моего существованія».

Прошла недѣля — отвѣта не было. Набрался рѣшимости отправиться безъ приглашенія. Ъхалъ въ сквернѣйшемъ настроеніи: не вѣрилось въ помощь. Ъхалъ и думалъ — какое несчастье быть человекомъ впечатлительнымъ: *не забывалъ отвѣта съ дворникомъ, редакторовъ Нижегородскихъ газетъ, а больше всего — адвоката!*

Чудилось, что и здѣсь ждетъ лишнее униженіе и во всю дорогу порывало вернуться обратно.

Но Горькій и кровь потомка крѣпостного раба... Я переломилъ себя, когда добрался до

особняка батюшки въ Новой деревнѣ. Особнякъ былъ изъ тѣхъ, передъ которыми бѣдняки испытываютъ смущеніе: я посмотрѣлъ на его фасадъ, на рѣзбу дверей параднаго хода и, когда моя рука коснулась звонка—подумалъ, что я, можетъ быть, совершаю дерзость, которой мнѣ не простятъ.

Такъ и вышло. Высунулась горничная, быстрымъ взглядомъ окинула меня съ головы до ногъ и, бросила:

— Дома никого нѣтъ.

И захлопнула дверь.

Я пошелъ съ чернаго хода. Кухарка, на минуту подняла голову отъ кастрюль на плитѣ, оглядѣла «посѣтителя» тоже съ ногъ до головы:

— Что надо?

— Батюшка дома?

— А на что вамъ его?

— Дѣло къ нему имѣю.

— Какое дѣло-то! Много тутъ ходятъ по дѣламъ-то. Занятъ онъ. Нельзя его отрывать.

Влетѣла горничная. Вглядѣ на меня—и видъ: «ага, проучила наглеца! Знай свое мѣсто».

Потомъ опять ложь:

— Вы опять? Я говорила же: дома никого нѣтъ.

Я кивнулъ головой на кухарку:

— Какъ нѣтъ? А мнѣ только что сейчасъ сказали, что дома.

Горничная неодобрительно посмотрѣла на кухарку и замаялась:

— Сказали-то вамъ сказали... Сказать все можно... Только кто въ отвѣтъ-то?

Сильно звякнула на плитѣ кастрюля, кухарка исчезла за облакомъ пара, а когда онъ разсѣялся, она уже переступала порогъ изъ кухни въ комнаты, съ благосклоннымъ взглядомъ на меня, съ нелестными эпитетами для горничной:

— Подождите: я доложу. Фря всякая, а туда-же: кто въ отвѣтъ?! Много ты отвѣчаешь. Побольше-бы работала!

Быть-бы здѣсь и не такой перепалкѣ, если бы тактъ горничной не подсказалъ, что счеты надо отложить до болѣе удобнаго случая: съ высоко-мѣрной усмѣшкой она проскользнула мимо кухарки и, уже невидимая, еще разъ напомнила мнѣ и кухаркѣ, чтобы мы не забывались:

— Доклады не ваше дѣло. Ваше дѣло—плита. А на счетъ работы: побѣгайте-ка вы къ парадному ходу!

Кухарка вернулась къ плитѣ; горничная явилась черезъ минуту.

— Батюшка просилъ обождать.

Я съ трудомъ сдержалъ тяжкій вздохъ!

Минутъ черезъ пять батюшка вышелъ—едва переступилъ порогъ кухни и спросилъ:

— Что угодно?

Тонъ былъ холодный; взглядъ тоже не изъ приятныхъ: стояли мы другъ отъ друга шаговъ

на десять—съ такого разстоянія онъ меня измѣрялъ съ головы до ногъ.

Года на три-на четыре я постарѣлъ, изна-сился въ тѣ четверть часа, которые пережилъ въ кухнѣ писателя.

Большими и серьезными глазами я хотѣлъ смотрѣть на міръ и вѣрилъ, что тѣ, которые зовутъ къ духовному свѣту, къ добру, къ любви, охотно окажутъ мнѣ нужную поддержку, но четверть часа въ кухнѣ писателя безповоротно убѣдили меня, что люди высокія стремленія цѣнятъ только въ томъ человѣкѣ, *который у нихъ ничего не проситъ!*

Мы захлебываемся въ восхищеніяхъ о талантливыхъ самородкахъ, мы изнываемъ въ соболѣзнованіяхъ о гибели этихъ самородковъ подъ гнетомъ нужды, но Боже упаси самородка, если онъ вообразитъ, что ему должны помочь: мы забудемъ свои прекрасныя слова и дѣломъ своимъ дадимъ ему почувствовать: «Осади назадъ! Туда, въ тьму невѣжества и когти нужды, туда, гдѣ ты задыхался!»

Въ четверть часа я пережилъ бездну самопрезрѣнія и испыталъ на себѣ ядовитое жало человѣко-ненавистничества—и не ушелъ, выдержалъ, ибо во мнѣ была надежда, что гдѣ то существуетъ Горькій, человѣкъ, который не будетъ измѣрять взглядомъ человѣка съ разстоянія десяти шаговъ; и не ушелъ, выдержалъ, ибо во мнѣ кровь потомка крѣпостного раба.

Медленно я на вопросъ батюшки началъ:

— Я къ вамъ по дѣлу. Или вѣрнѣе: съ просьбой...

— Съ какой?

— Не просмотрите-ли у меня два небольшихъ разсказа?

Онъ молчалъ, Я почувствовалъ, что этого мало, что, можетъ быть, сейчасъ услышу: «У меня для этого времени нѣтъ. А вообще—это дѣло редакцій»—и поспѣшилъ добавить:

— Меня направили къ вамъ.

— Кто?

— Ваши читатели.

Это была ложь, ложь рожденная моментально въ мучительности униженія, ложь претворенная въ тонкій вопросъ:

— А ну, г. писатель, покажите-ка, насколько у васъ развита отвѣтственность передъ читателемъ за то, чему вы его учите?

— Странно... Читатели?—съ недоумѣніемъ произнесъ батюшка, потомъ холодно пожалъ плечами и пригласилъ слѣдовать за нимъ.

Черезъ двѣ минуты онъ усадилъ меня въ своемъ кабинетѣ около письменнаго стола, усѣлся самъ—и попросилъ:

— Разскажите о себѣ поподробнѣе.

Я началъ, но сейчасъ же запнулся.

— Ничего. Вы не стѣсняйтесь,—сказалъ онъ и подбодрилъ меня мягкимъ, ласковымъ взглядомъ.

Легки свои страданія, когда ихъ рассказы-

ваешь лицу, которое дастъ почувствовать въ себѣ человѣка. Свободно, непринужденно, съ улыбкой примиренія я рассказывалъ вкратцѣ о томъ, какъ жизнь искалѣчила до 26 лѣтъ, поставила на острую грань, гдѣ за жизнь безъ помощи людей не уцѣпишься.

Онъ слушалъ съ довольно деликатнымъ приѣмомъ: на меня не глядѣлъ, но слушалъ внимательно, — и не только то, что говорится, но изучается и интонація голоса.

Я кончилъ и заключилъ:

— Милостыни я не хочу; ею жить тяжело, да и жизни безъ цѣли не принимаю. Но если найдете у меня дарованіе и захотите поддержать — поддержите меня до конца.

Онъ спросилъ:

— Сильно вы больны?

Я молча показалъ ему обезображенную ревматизмомъ руку.

Онъ немного подумалъ:

— Хорошо. Оставьте свои рассказы. Я посмотрю и дамъ отвѣтъ.

Вынулъ я изъ кармана пальто двѣ тоненькихъ тетради, — тѣ которыя были уже оплеваны редакторами «Нижегородскихъ газетъ.»

— Вы гдѣ живете?

Я сказалъ.

— Сюда, человѣку вашего здоровья, трудно ѣхать. Отвѣтъ я вамъ дамъ письменно.

Я поблагодарилъ и всталъ, чтобы идти.

Онъ взглянулъ на мои тетради и остановилъ:

— Подождите немного, — и вышелъ изъ кабинета. Вернулся минуты черезъ три со стаканомъ кофе и хлѣбомъ: — вотъ, пейте пока кофе, а я, приблизительно, ваши вещи просмотрю сейчасъ.

Выбралъ рассказъ поменьше и углубился въ него.

Я оглядывалъ его кабинетъ. Ничего лишняго: большой письменный столъ, заваленный книгами и гранками, у стола два (занятыхъ нами) кресла, одна стѣна заставлена шкафами съ книгами, около камина — большой обтянутый черной кожей, диванъ.

Ничего лишняго — но масса свѣта, уютъ той богатой, солидной простоты, которая не коробитъ кричащей безвкусицей.

Онъ просмотрѣлъ первый рассказъ и бросилъ:

— Да, наблюдательность есть. Эту вещь могутъ напечатать въ газетахъ.

Я промолчалъ. Я былъ подавленъ обиліемъ книгъ: какая бездна знанія тутъ — а онъ все это прочиталъ, а что читалъ я?

Онъ принялся за другой рассказъ и, когда кончилъ его, заявилъ:

— Вотъ здѣсь настоящая искра есть. Этотъ я могу устроить въ «В. Т.» Вы сколько за него хотѣли бы получить?

Я подумалъ, припомнилъ гдѣ-то прочитанное, что минимальный гонораръ за печатный листъ 75 рублей — мой рассказъ былъ около печатнаго

листа, и страшно мнѣ было назвать эту скромную цифру:

— Рублей 50 дадутъ?

— Нѣтъ, 50 не дадутъ. Рублей 25. Журналистикъ не большой. Подписная цѣна—рубль въ годъ; подписчиковъ всего 6000—дороже платить не въ силахъ.

И точно желая утѣшить меня въ томъ, что мнѣ нельзя получить 50—послѣ короткой паузы добавилъ:

— Все, конечно, въ свое время приходитъ. Въ газетѣ «Р. С.» есть сотрудники, получающие по 50 копѣекъ и даже по рублю за строчку—но это уже имена. Вообще, начинающему на первыхъ порахъ у насъ трудно.

Я былъ на седьмомъ небѣ. Что этотъ добрый человекъ говоритъ: «Трудно»!

Я забылъ всѣ шипы, на которые налетѣлъ до батюшки—я въ эти минуты чувствовалъ одно: «Чего я знаю? Какой я писатель? Чѣмъ я заслужилъ?»

И радостно лепеталъ:

— Что вы! Да для меня и 25 рублей—ошеломляющая сумма. Эту вещь я писалъ четыре дня. Подумайте, что значить для человека 25 рублей за четырехъ-дневный трудъ, который помнить, какъ онъ работалъ за 10 копѣекъ въ день.

Онъ удивился:

— Такъ мало? Такая эксплуатация?

— Да. Но прежде, чѣмъ получать 10 копѣекъ—нужно два года проработать безъ копѣйки.

Онъ покачалъ головой:

— Такая эксплуатация.

Помолчалъ и предложилъ:

— А полечиться не хотите?

Я высказалъ, что, какъ не хотѣть, но выразилъ и сомнѣнiе, что, пожалуй ничего не выйдетъ: болѣзнь застарѣла.

— Все-таки, попытаемъ. Я вамъ дамъ къ одному профессору карточку. Сходите къ нему.

Получилъ я карточку, поблагодарилъ и хотѣлъ идти, но онъ меня опять задержалъ:

— Обождите еще минутку.

Ушелъ и вернулся — протягивая мнѣ 25 рублей:

— Вотъ вамъ пока.

Этого я совсѣмъ не ожидалъ; денежный вопросъ былъ гдѣ то еще впереди, я не успѣлъ къ нему подготовиться, не пережилъ наединѣ такого рѣшенiя, которое даетъ силу просить о такого уже рода помощи.

Неподвижно я стоялъ передъ батюшкой охваченный одновременно и мучительнымъ стыдомъ и безграничной благодарностью за отзывчивость.

— Не стѣсняйтесь, не стѣсняйтесь. Когда получите гонораръ за рассказъ — сочтемся.

Это было сказано тепло, задушевно — и уже окончательно поработанный и растроганный до

глубины души, я молча принялъ деньги, молча связалъ себя съ этимъ человѣкомъ чувствомъ: одно слово этого человѣка, посылающее тебя на смерть—пойдешь не задумываясь.

Мы простились. Необузданный въ страданіи, когда поглощенный цѣликомъ своими внутренними переживаніями не видишь впереди себя предметовъ и прешь на стѣну, на человѣка, я былъ необузданенъ точно также и въ радости: прежде я чуть не наткнулся на книжный шкафъ, потомъ пошелъ не въ ту дверь.

— Не сюда,—замѣтилъ хозяинъ:—Идите за мной.

Онъ вывелъ меня черезъ парадный ходъ и, прощаясь вторично, спросилъ.

— А у васъ есть еще рассказы?

— Есть. Посмотрю и, можетъ быть, чтонибудь выберу.

— Вотъ-вотъ. Выбирайте и приходите ко мнѣ. Можетъ, и изъ нихъ кое что будетъ подходящее.

На дворѣ уже наступали сумерки. День сырой, туманъ клубился надъ городомъ, порывистый, рѣзкій вѣтеръ пронизывалъ холодомъ, а я, какъ въ блаженномъ снѣ, ѣхалъ на коночныхъ клячкахъ, потомъ на паровой конкѣ, видѣлъ массу то сѣрыхъ и кислыхъ, то злыхъ лицъ — многіе съ недоумѣніемъ, а иные съ ненавистью посматривали на меня: уже стемнѣло, вѣтеръ бушевалъ во всю и люди, очевидно, не понимали

какъ можно сіять такъ, какъ я, въ такую тьму египетскую.

Я ѣхалъ домой и добродушно припоминалъ «рыцарей Нижняго»:

— Привѣтъ, вамъ, господа! Живъ еще Богъ въ душѣ человѣка — и когда встрѣтишь такого человѣка послѣ васъ — лучше и полнѣе его оцѣнишь.

Черезъ полторы недѣли я явился къ батюшкѣ вторично: привезъ ему еще два рассказа. Пылкая молодость: одинъ былъ уже вновь написанъ.

Онъ встрѣтилъ меня ласковымъ, немного усталымъ взглядомъ и вопросомъ.

— Ну, какъ у насъ дѣла съ леченіемъ?

Я высказалъ, что былъ у профессора, но лечиться у него не приходится. Мнѣ нужны массажи и водолеченіе — водолечебницы при этой больницѣ не имѣется. Ходилъ по совѣту профессора въ общину «Краснаго Креста» — результатъ и тамъ неутѣшителенъ: леченіе дорогое, 90 рублей въ мѣсяцъ.

— Да, это дороговато, — отозвался батюшка: — Рублей-бы 30.

Немного подумалъ:

— А впрочемъ, туда, пожалуй, мнѣ можно будетъ устроить васъ бесплатно.

Въ общинѣ, кромѣ сестеръ милосердія, муж-

скаго персонала въ родѣ фельдшеровъ не имѣлось, мнѣ нуженъ былъ общій массажъ, водолеченіе тоже требовало полной ноготы—и пришлось мнѣ говорить батюшкѣ, что тяжесть смущенія передъ женщинами я не могу пока себѣ представить.

Онъ выразилъ сомнѣніе?

— Не можетъ быть, чтобы все дѣлалось сестрами. Должны быть, массажисты, при водолеченіи—служителя.

Я увѣрялъ, что нѣтъ. Онъ пошелъ справляться по телефону.

Вернулся въ не меньшемъ смущеніи, чѣмъ я:

— И въ самомъ дѣлѣ. Странно! Ну, ничего. Я подумаю, куда бы васъ еще устроить.

Передъ моимъ приходомъ онъ что-то писалъ,—я передалъ ему рассказы и поспѣшилъ было убираться во свояси.

— Уже уходите?

— Вы заняты.

— Это ничего.

Посмотрѣлъ на меня—меня знобило.

— Вотъ что. Выпей-те-ка стаканъ кофе, Продрогли вы. Онъ хорошо согрѣваетъ.

Отъ кофе я отказался и заявилъ, что лучше пойду на кухню и обогрѣюсь у плиты.

— Ага. Ну, идите.

Я пошелъ. Черезъ минуту и онъ навернулся—остановился у плиты, потеръ надъ ней руки и, предложилъ:

— Если кофе не хотите, выпейте чаю. Скорѣе согрѣетесь.

Отъ чаю я не отказался. Онъ простился и вернулся къ прерванной работѣ; но минуты черезъ три явился вновь и предложилъ мнѣ пить чай въ комнатѣ.

Я его понялъ и возражалъ:

— Но мнѣ и здѣсь удобно. Тепло — вотъ главное. Спасибо. Не беспокойтесь.

Онъ увѣрялъ, что въ комнатѣ тоже очень удобно и тепло, а потомъ взялъ меня подъ руку и мягко потянулъ за собою:

— Экій вы несговорчивый!

Привелъ въ небольшую комнату, усадилъ, исчезъ и явился минутъ черезъ пять со стаканомъ чаю, котлетой и яичницей.

Я искренно протестовалъ:

— Но я сытъ. Я ничего, кромѣ чаю, не хочу.

— Ничего. Съѣшьте. День холодный. Дорога вамъ дальняя. А отъ усиленнаго питанія внутренней теплоты бываетъ больше. Непремѣнно съѣшьте!

Я вооружился вилкой и ножомъ — онъ съ улыбкой простился:

— Наконецъ-то, покорень! *)

Съ этого дня, являясь къ нему, я ходилъ черезъ кухню безъ слѣда горькаго чувства: какъ

*) Я дѣйствительно былъ покорень—но чѣмъ платится душа человѣка въ послѣдствіи за такую покорность?

свой человекъ, который убѣжденъ, что самолюбіе въ данномъ случаѣ ложно и, что не слѣдуетъ отрывать отъ дѣла прислугу бѣготней къ параднымъ дверямъ. **)

Прошла еще недѣля. Недѣля того восторженнаго состоянія, когда все мое я жило чистой радостью, что вѣра моя въ человека не уподобилась бесплодному крику погибающаго въ пустынѣ.

Я поѣхалъ къ батюшкѣ въ третій разъ.

Бесѣда началась объ одномъ изъ моихъ разсказовъ.

— Нѣкоторые герои неестественны, — заявилъ онъ.

Я сознался, что есть типы съ натуры и есть вымышленные и, послѣдніе, должно быть, вымышлены неудачно.

— Ну, вотъ. Я такихъ людей хорошо зналъ: самъ родился въ кабакѣ.

Вещь моя по темѣ была аналогична съ разсказомъ Горькаго «Бывшіе люди». 1

Большими, тяжелыми шагами хозяинъ ходилъ по кабинету и говорилъ, что цѣнно должно быть въ искусствѣ; сказалъ кое что и о Горькомъ:

— Это талантъ, но онъ сломалъ себѣ на бо-

**) Крупницу элементарнаго такта и минутную вспышку любви къ ближнему, я по молодости, принялъ за фактъ, что на тебя не смотрятъ сверху внизъ.

сикахъ голову. Когда то я ему говорилъ: «Пойте своимъ голосомъ, хоть маленькимъ, но не будьте подголоскомъ. Ницшеанскій башмакъ для васъ узокъ». Не захотѣлъ и пошелъ не потому пути.

Я жадно его слушалъ. «Ницшеанскій башмакъ», — что это такое? Ничего такого я не знаю — и горѣлъ страстной жаждой учиться, а рядомъ съ этой жаждой просыпалось безсильное отчаяніе: Не поздно-ли? Все лучшее для этого, кажется попадало, какъ осеннія листья и унесено бурей прошлаго. Не поздно-ли?

Тяжкую усталость я носилъ въ себѣ оттого, что недугъ раздавилъ мою самостоятельность, что внѣ сферы зависимости мое существованіе невозможно и оттого, что весь пройденный мною путь — былъ тѣмъ скорбнымъ путемъ, который легъ на свѣтлыя стороны моей души черными тѣнями безнадежности.

Я смотрѣлъ на батюшку — на его крупную фигуру, на мягкое раздумье лица, на усталость, постоянно живущихъ мыслью глазъ, — и такъ хотѣлось сказать ему:

— Минуты у васъ — отдыхъ для меня за годъ, но эти же минуты — и источникъ новыхъ мученій. Какой я писатель? Что я знаю? Знаю только жизнь трудящихся, то, что подобно той слѣпой лошади, которая думаетъ, что она идетъ впередъ, а на самомъ дѣлѣ толчется на одномъ мѣстѣ: толчется и не видитъ что она вращаетъ одинъ и тотъ же, одинъ и тотъ же проклятый

кругъ только за одинъ кормъ, только за жалкое право своего существованія до тѣхъ поръ, пока на этомъ кругу не упадетъ.

Я изъ числа упавшихъ, изъ числа, можетъ быть, къ несчастью своему, немного прозрѣвшихъ, но сильно отравленныхъ. Страшно по временамъ касаться къ дѣлу писательства съ такой душой. Смутно чувствую, что есть что то, что есть «святая-святыхъ жизни» — но что? Страшно думать объ этомъ, когда не увѣренъ, что можешь отличить святое отъ низменнаго, цѣлесообразное отъ безцѣльнаго, вѣчное отъ бреннаго. Научите! Ибо тяжело жить душѣ, когда она цѣликомъ ни во что не вѣритъ, никому не молится.

Такъ хотѣлось сказать, но боязнь, проклятая боязнь человѣка лишеннаго свѣта знанія, вынужденнаго блуждать въ потемкахъ и находить выходъ исключительно только своимъ разумомъ и своими чувствами — такая боязнь сковала мои уста: Что такое я — дикарь; а вдругъ выжилишь какую нибудь глупость?!

И я ограничился тѣмъ, что попросилъ книгъ, и спохватился, что слишкомъ надолго оторвалъ батюшку отъ работы.

Простились. Батюшка вынулъ изъ кармана и протянулъ мнѣ 25 рублевку.

— Вотъ вамъ еще на расходы.

Я взглянулъ ему прямо въ глаза совершенно свободно.

— У меня еще тѣ не вышли.

— Ничего, ничего. Сочтемся. Питайтесь лучше. Это вамъ необходимо. А потомъ — комната у васъ какова?

— Комната незавидна. И холодновата, и сыровата.

— Ну, вотъ, перемѣните на хорошую.

Я молча пожалъ ему руку. Онъ отворилъ мнѣ изъ кабинета дверь и, пропуская, сказалъ:

— Пишите. Изъ васъ что нибудь выйдетъ. Какъ напишите новую вещь — приносите.

«Пишите».

Просыпаясь утромъ и сейчасъ же вставая съ постели — я мысленно повторялъ это слово.

— Пишите.

Ложился за полночь и засыпая, думалъ все о немъ-же:

— Пишите.

Оно мнѣ создавало повышенный дурманъ, подобный состоянію древнихъ экстаиковъ. Климатъ Петербурга былъ для меня недопустимый климатъ: мой ревматизмъ протестовалъ не только иногда прямо жесточайшими болями, но и прогрессирующимъ уродствомъ суставовъ.

Я буквально отказался отъ чаю и быкомъ пилъ — въ день стакановъ по 15, — настой изъ травы «Звѣробой»: эта отвратительная бурда спасала меня отъ тѣхъ обостреній, когда бо-

лѣзнь на нѣсколько мѣсяцевъ укладываетъ въ постель.

Въ дни особенно сильныхъ недуговъ, когда упорная боль въ плечѣ или въ кисти руки, отрывала на нѣсколько времени отъ работы и вселяла въ душу тягостное чувство такого существованія—я бодро гналъ это чувство прочь.

Кому легче живется? Только тѣмъ, кто на несчастіе другого съ легкимъ сердцемъ строитъ свое счастье, а остальные—всякій въ этой жизни несетъ свой крестъ и всякому онъ по своему тяжель.

Вотъ Катя, знакомая сестры, дѣвушка 28 лѣтъ, съ горячими синими глазами, въ глубинѣ которыхъ судорожно бьется тоска молодого тѣла, и постоянно нервной дрожью тонкихъ рукъ: она мужественно выдерживаетъ борьбу за существованіе, но мучительно недоумѣваетъ: «Къ чему? Мнѣ мало быть сытой: я хочу отъ жизни и радостей. А радости то и нѣтъ. Кругомъ такая тупость и пошлость! Человѣка въ ней не вижу. Кажется, что если такъ еще года три проживешь—въ петлю полѣзешь».

Она горитъ и изнываетъ оттого, что не встрѣчаетъ хоть сколько нибудь достойнаго человѣка, которому можно было бы отдать свое первое чувство.

Вотъ Полина Семеновна, женщина 40 лѣтъ, мать четверыхъ дѣтей, умная, глубокая женщина, выстрадавшая въ жизни необыкновенное

чувствѣ къ несчастію другихъ и необыкновенный тактъ, какъ къ несчастію другого подойти.

Когда она приходитъ ко мнѣ, я напередъ знаю, что значить ее сильно проняло, но знаю такъ же и то, что не услышу изъ устъ ея ни одной жалобы на свое положеніе, гдѣ придется изворачиваться не только за себя, но и за судьбу дѣтей.

Мы попьемъ чайку, иногда выпьемъ и «монопольки», мы потолкуемъ объ отвлеченностяхъ, но оба въ этихъ отвлеченностяхъ уловимъ, гдѣ и въ чемъ лежитъ скорбь каждаго изъ насъ—мы потолкуемъ и неизбежно окончимъ бесѣду съ сознаніемъ: побольше мужества въ жизни!

Несмотря на свои сорокъ лѣтъ, на появляющуюся сѣдину въ волосахъ, Полина Семеновна носить въ себѣ какое-то темное, смутное обаяніе, подобное власти обаянія лѣтнихъ темныхъ ночей.

И когда я прощаюсь съ нею, когда ощущаю въ своей рукѣ теплый, нѣжный атласъ ея руки и вижу ея хорошо сохранившуюся фигуру—я чувствую, что эта женщина далеко еще не изжилась, не изнасилась, какъ лучшіе годы молодости протекли безъ счастья, пошли на закалъ души: ей и теперь бы жить-да жить, но нѣтъ, поздно—это уже не женщина, а фанатикъ, гордо бросающій вызовъ всѣмъ превратностямъ своей судьбы.

Вотъ сестра. Видѣ ея у меня иногда вызы-

ваетъ улыбку. Жизнь ее немного по головкѣ погладила—и зубы ея не такъ уже напряженно сжаты. Все чаще и чаще на ея лицо набѣгаетъ улыбка—робкая улыбка, улыбка тихой радости.

Она отдыхаетъ: не видитъ и не дрожитъ передъ пьяной рожей мужа, не живетъ боязнью за то, что за слѣдующій мѣсяцъ нечѣмъ будетъ платить за комнату.

Большаго о ея переживаніяхъ я ничего не знаю. Она молчитъ, двигается по комнатѣ не слышно и напоминаетъ о себѣ только тогда, когда замѣтитъ, что мнѣ что нибудь нужно. Она молчитъ по недѣлямъ и вдругъ безъ всякаго повода заговорить со мной:

— Я такъ его боялась. Я думала, что онъ убьетъ тебя, когда ты его станешь выгонять, а онъ такой трусъ оказался... Такой трусъ: заплакалъ и ушелъ.

Я смотрю сестрѣ въ глаза и вижу, что молодая жизнь, пожалуй, раздавлена совѣмъ: при сознаніи, что мужъ оказался жалкимъ трусомъ—у ней все-таки при воспоминаніи о немъ панический страхъ.

Этими тремя лицами исчерпывались мои непосредственныя наблюденія, а приблизительныя... Я радъ, что передъ единственнымъ окномъ моей комнаты торчитъ брандмауеръ. Это представляетъ извѣстные неудобства—онъ мнѣ заслоняетъ свѣтъ, но за то создаетъ иллюзію, иногда такъ необходимой замкнутости.

Я не увижу изъ своей комнаты гордыхъ, самодовольныхъ походовъ, важной надменной поступи и, безпечныхъ, съ печатью ничего не понимающаго идиотизма, кромѣ себя,—гнусныхъ лицъ!

Вотъ имъ легко живется! Какъ бы быстро не катилось колесо жизни, колесо взаимнаго истребленія—наглость поможетъ имъ всегда держаться на высотѣ его.

И неужели такъ навсегда: задавленные необъединятся, не научатся различать подъ маскою друга смертельнаго врага?

Такъ, въ дни особенно сильныхъ недомаганій—я гналъ тягостное чувство изъ души прочь. И боль становилась менѣ чувствительной, потому исчезала совѣмъ.

О, свято-вѣрующая молодость,—какъ ты наивно поклонялась одному слову:

— Пишите!

Чего не сулилъ мнѣ этотъ пустой звукъ? Чудилась свѣтлая жизнь—путь свободный отъ гнуснаго торжища жизни, путь высшихъ чаяній души!

1905 годъ.

Недолгій самообманъ, недолгое заблужденіе: тамъ, гдѣ дѣйствительность творится людьми, не уясняющими себѣ вполнѣ своихъ дѣйствій и поступковъ, тамъ атмосфера полна жестокихъ разочарованій: скоро создаются иллюзіи и скоро исчезаютъ. Тамъ человѣческая душа—игрушка: чѣмъ ни болѣе въ ней блеска, тѣмъ скорѣе ее разобьютъ.

Одинъ изъ моихъ—вновь написанный,—разсказовъ, батюшка пытался устроить въ «Р. Б.»

Когда я писалъ его и, когда несъ къ батюшкѣ—я боялся: «А вдругъ, закатитъ мнѣ голово- мойку? Мальчишка, еще нигдѣ не печатавшійся, и вдругъ, походъ на писателей съ именами? Что, если скажетъ: Это раненько, молоко еще на губахъ не обсохло!» И велика была моя радость, когда на мои вопросы: «Каковъ разсказъ?» И можно-ли его гдѣ нибудь напечатать»,—я получилъ отвѣтъ:

— Ничего разсказъ. Напечатать можно.

Я высказалъ свои опасенія.

Батюшка благосклонно улыбнулся; спросилъ меня, что это за имена, и, замѣтилъ:

— Это ничего. Настоящія имена лицъ, вѣдь, не названы. *) А остальное, если въ рукахъ писателя печатное слово оружіе, то почему зарвавшихся молодчиковъ изъ писателей не бить этимъ же оружіемъ?

Немного помолчалъ:

— Я его отдалъ въ «Р. Б.» Недѣли черезъ двѣ дадутъ отвѣтъ.

Физиономіи «Р. Б.» я совершенно не зналъ и побоялся за разсказъ уже только потому, что журналъ изъ толстыхъ.

Хотѣлось высказать свою боязнь, что разсказъ моего въ такой журналъ не примутъ, что мало еще я поработалъ, но остановила мысль, что батюшка болѣе знаетъ меня, что дѣлаетъ.

Мои опасенія оправдались: разсказа не приняли. Неудача особенно сильно на меня не повлияла, а тутъ еще новый сюрпризъ: къ этому времени я написалъ еще разсказъ «Въ заводѣ», **) который батюшкѣ показался лучшимъ изъ всѣхъ, что онъ читалъ изъ моихъ вещей; онъ довольно потиралъ руки, когда высказалъ мнѣ мое имя:

*) Этотъ разсказъ—разсказъ о моихъ похожденияхъ въ Нижнемъ. Запомните, читатель: когда мы благотворимъ, мы далеко не прочь отъ обличенія въ жестокосердечіи другихъ!

**) Этотъ разсказъ претерпѣлъ большія мытарства, былъ роковымъ въ переломахъ моей судьбы и, поэтому я даю его названіе.

— Хорошій рассказъ! Жизненный. Содержательный. Впечатлѣннй много. Я васъ устрою въ «Р. С.» Тамъ будетъ постоянный заработокъ.

«Устрою»—это звучало полной увѣренностью. И какъ не вѣрить было мнѣ: батюшка былъ тогда въ молѣ.

Меня это, какъ наивнаго провинціала, — думаю, что кромѣ меня, и многихъ,—ослѣпляло: казалось, что батюшка въ той газетѣ, куда обѣщаль меня устроить, первая сила.

Но... это «Устрою» было послѣдній иллюзіей, давшей мнѣ извѣдать только сладость головокруженія.

Бѣхаль я домой и пробоваль сомнѣваться:

— Все имена, крупныя имена... въ этой газетѣ и вдругъ я! Ужъ не ослышался-ли? Да нѣтъ. Если бы сказалъ: «попытаюсь устроить». Тогда бы—бабушка на двое сказала. А то, вѣдь, прямо, безъ оговорокъ: «Устрою».

На другой день батюшка уѣхаль туда, гдѣ издавалась эта газета; вернулся черезъ недѣлю—для насъ обоихъ наступила расплата. Сообщать объ этомъ мнѣ, батюшкѣ, очевидно было тяжело: онъ не глядѣль на меня и отрывисто бросаль:

— Въ «Р. С.» неудача. Я сомнѣвалься, что рассказъ «Въ заводѣ» — будетъ дебютирующій рассказъ. Вышло иное. Это для меня полная неожиданность.

Я былъ сразу раздавленъ.

— Можетъ быть, мнѣ совсѣмъ не надо писать? Бросить писать?

— Ну, вотъ. Пишите. Начинающему на первыхъ порахъ вообще трудно. На эту неудачу особеннаго вниманія не обращайтесь: она не показатель непригодности рассказа. Тамъ на такія вещи иные взгляды—и только. Примиримся съ этимъ. Вамъ нужно подыскать какое нибудь подходящее мѣсто. На этотъ счетъ...

Я не далъ ему договорить—безнадежно отмахнулся рукой и сказалъ:

— Трудно на это надѣяться. Здоровыхъ людей много, а я что?

— Трудно, словъ нѣтъ. Но эту заботу я возьму на себя.

Я ожилъ, поблагодарилъ батюшку и отправился домой. Перспектива собственнаго заработка улыбалась лучше, чѣмъ брать деньги у батюшки, не зная,—вернешь-ли ихъ когда.

Насчетъ мѣста я долженъ былъ навѣдаться черезъ двѣ недѣли. Томительно шло это время. Отъ неудачъ—писательскій дурманъ схлынулъ: не могъ уже писать слѣпо, какъ раньше, не зная, что въ моемъ трудѣ цѣнно и, что негодно.

За письменнымъ столомъ я просиживаль не меньше, чѣмъ и до этого—но на бѣлый листъ бумаги, иногда за цѣлый день не заносилось ни одной строки.

Собственными силами я хотѣль научиться «чув-

ству мѣры», художественному чутью и падалъ отъ непосильности такой задачи: слишкомъ мало я для этого читалъ, слишкомъ мало работалъ, и слишкомъ сильно давила зависимость.

Сознаніе мутилось отъ тоскливаго напряженія—и когда я поѣхалъ къ батюшкѣ, я рѣшилъ просить его объ указаніяхъ.

Съ первыхъ же словъ батюшка навелъ рѣчь на то, гдѣ я въ бытность рабочимъ бывалъ, въ какихъ заводахъ работалъ и, когда я разсказалъ, онъ мнѣ предложилъ:

— Знаете что? Напишите мнѣ все: гдѣ работали, какіе гдѣ порядки, что вамъ пришлось пережить. Пишите, не заботясь о литературности—это мнѣ послужитъ матеріаломъ, который я обработаю самъ. Согласны?

Еще бы мнѣ не согласиться!

— Ну, вотъ. Пишите, а я вамъ за это заплачу дороже, чѣмъ бы заплатили редакціи.

Я высказалъ, что платы мнѣ не надо, что я безмѣрно доволенъ и тѣмъ, что выпадаетъ случай быть полезнымъ, а потомъ повѣдалъ и о своихъ «мукахъ слова».

Онъ живо отозвался:

— Это хорошо. Кто изъ пишущихъ собою всегда доволенъ—отъ того проку мало. Это хорошо, но вотъ статья: сдѣлать вамъ тѣ указанія, о какихъ вы просите, я не могу. Для этого нужно читать ваши вещи вмѣстѣ, а у меня на это время нѣтъ. Дѣлъ по горло.

Помолчалъ, Посмотрѣлъ на меня и, должно быть, я имѣлъ очень убитый видъ, когда ему захотѣлось меня утѣшить:

— Очень-то не огорчайтесь. Можетъ быть, какъ нибудь и урвемъ для этого свободный денекъ.

Я повѣрилъ «въ денекъ» и, энергично засѣлъ за матеріалъ для батюшки. Черезъ недѣлю доставилъ ему половину, а еще черезъ три дня заѣхалъ узнать: какъ ему этотъ матеріалъ кажется, будетъ-ли годенъ.

— Это вѣ сомнѣнія. Пишите еще. Пишите включительно до того времени, когда не въ силахъ уже стали работать. Я изъ этого матеріала думаю создать большую вещь.

Черезъ недѣлю я привезъ остальное. Всего было около шести печатныхъ листовъ,—это въ чернѣ, крайне сжато.

Я хорошо понималъ: почему такой матеріалъ понадобился батюшкѣ. Было начало февраля 1905 года—Гапонъ своимъ историческимъ шествіемъ во главѣ рабочихъ пробудилъ интересъ къ пролетаріату.

И хотя у меня у самого бродила мысль использовать то, что пережито въ бытность рабочимъ, ради батюшки я отказался отъ этой мысли съ радостью.

Прошелъ февраль. Наступилъ мартъ. Самочувствіе становилось отчаяннымъ: ревматизмъ не дремалъ, писательскій дурманъ исчезъ безслѣдно, ибо на его мѣсто явилась проза: денегъ мнѣ уже не предлагаютъ, а я просить не могу!

Безъ иллюзій, безъ розовыхъ самообмановъ я все чаще и чаще становился лицомъ къ лицу съ жестоко-лживой дѣйствительностью. Были за это время съ батюшкой рѣдкія встрѣчи—тѣ темныя, недоговоренныя встрѣчи, послѣ которыхъ на душу падаетъ тяжесть, что тобою, кажется, тяготятся, тѣ встрѣчи безъ мужества—взглянуть на тебя прямо, сказать тебѣ правду.

Глаза батюшки опущены или внизъ, или устремлены въ сторону, голосъ сухъ, официаленъ. Каждый разъ меня порывало объясниться на чистоту, высказать, что если желаніе помочь становится уже тягостнымъ, вынужденнымъ, то я такой помощи не принимаю—и каждый разъ меня останавливало деликатное чувство, что я могу оскорбить человѣка, заподозривъ его въ томъ, о чемъ онъ и не думалъ.

Ждалъ я отъ батюшки одного: мѣста. И всякій разъ слышалъ одно:

— Ищу. Но пока ничего подходящаго для васъ нѣтъ.

Иной разъ добавитъ:

— Время для этого у меня маловато. Но не беспокойтесь очень: чтонибудь да подыщемъ.

Я говорилъ что въ моемъ положеніи не до

выбора: рублей на 25 на 30—и это для меня благо.

И ѣхалъ домой.

Ѣхалъ съ чувствомъ безнадежности и въ то же время не допускалъ, что изъ одного только малодушія меня водятъ за носъ.

Нельзя было въ это повѣрить. Вѣдь, я читалъ Д. Я читалъ и не забылъ то, что является при обстановкѣ: сытые и обезпеченные люди сидятъ въ комфортабельномъ уголкѣ, сидятъ за столомъ полнымъ деликатессъ изъ винъ и закусокъ, сидятъ и бесѣдуютъ, умиляясь благородствомъ другъ-друга, ибо жизнь, подлинная, бѣдная, убогая, проклятая жизнь отъ нихъ въ это время безконечно далека, ибо они другъ въ другѣ не нуждаются, а если таковое и случится—кому неизвѣстно, какъ охотно, съ какой радостью открываются кошельки кредитоспособнымъ друзьямъ?

Я читалъ и не забывалъ Д., который о батюшкѣ писалъ, что это «священникъ Бога живого»

Я читалъ въ то время, когда еще жизнь не научила меня понимать психологію буржуа, когда еще не дала мнѣ той остроты зрѣнія, которое за пышными и красивыми фразами видитъ мерзость запустѣнія.

Дома меня встрѣчала сестра:

— Ну, что? Ничего еще?

— Ничего.

Пока я снимаю пальто, она зорко слѣдитъ за

моими руками: не выну-ли изъ кармана денегъ и не положу-ли на столъ, какъ это всегда дѣлалъ, когда являлся съ деньгами.

Съ щемящимъ сердцемъ я вижу ея разочарованіе, слышу ея тихій, подавленный вздохъ: завтра она пойдетъ въ ссудо-сберегательную кассу за деньгами!

Оказалось, что часть свою съ продажи дома, она всю не прожила, какъ я поѣздкой въ Нижній: ревниво до моего приѣзда хранила 75 рублей—сумма, которая ей сулила спокойную жизнь:

— Съ машиной работу дома всегда имѣть можно. Безъ машины, какъ безъ рукъ. Жди, пока тебя позовутъ. Ждешь мѣсяць, а позовутъ—отработала недѣлю, а потомъ опять жди. Сколько разъ своему дураку говорила: не пей—и поправимся! Не слушала. Ну и мучилась: сидишь бывало голодная и думаешь: будь бы машина—не голодала; деньги на машину есть—купить нельзя; живо стащить и пропить. Иногда прямо молила: хоть бы издохъ, пьяница, поско-рѣе!

Вздыхаетъ сестра. Тяжко ей разставаться съ деньгами на машину—но вѣрить она въ батюшку.

— Ну, смотри. Я возьму еще. Но когда ты получишь мѣсто—не забудь меня: верни сколько я взяла.

И еще встрѣча—последняя.

Три позорныя минуты!

Сунуль мнѣ батюшка мои три рассказа.

— Вотъ что. Сходите-ка вы съ этими рассказами къ Б. и въ «Б. В.» къ И. Скажите, что отъ меня. Можетъ быть, они у себя эти рассказы устроятъ. Да кстати, побывайте въ «В. Т.» Странно: вашъ рассказъ я отдалъ туда давно, а онъ до сихъ поръ почему-то не напечатанъ.

Я выслушалъ и спросилъ:

— А насчетъ мѣста ничего утѣшительнаго?

— Пока ничего.

Потомъ тономъ полувопроса и полуутвержденія батюшка бросилъ:

— Денегъ у васъ нѣтъ...

Я молча наклонилъ голову. Онъ далъ мнѣ 15 рублей, и вставая, протянулъ руку:

— До свиданія! Извините. Бѣду сейчасъ. Спѣшка.

На другой день я поѣхалъ въ «В. Т.» Путь изъ Лѣсного до Гороховой не близкій; погода и для Петербурга на рѣдкость скверная,—сильно болѣли ноги, но до редакціи я добрался бодро.

Тамъ меня ждало нѣчто. Выслушалъ редакторъ суть моего посѣщенія, порылся въ столъ и, заявивъ:

— Никакого рассказа отъ него ко мнѣ не поступало.

Я возразилъ, что не можетъ этого быть, ибо батюшка говорилъ, что рассказъ сдалъ дав-

но и удивляется: почему онъ до сихъ поръ не напечатанъ.

Редакторъ улыбнулся:

— Удивляется? Ну, это для меня не удивительно. Разсѣянъ онъ очень. Вѣроятно, только думалъ сдать къ намъ разсказъ—и забылъ.

Я молча поклонился редактору и вышелъ изъ редакціи въ сильно-угнетенномъ состояніи духа. Сразу ощутилась вся сила недомоганія и обратный путь домой казался непосильнымъ, невозможнымъ. Я стоялъ передъ дверью редакціи, облокотившись на перила лѣстницы, и видѣлъ улыбку редактора и повторялъ его фразу: «Разсѣянъ онъ очень».

И хотя сознаніе мое говорило мнѣ, что фактъ ненахожденія въ редакціи разсказа—самъ по себѣ ничтожный фактъ, изъ за котораго не стоитъ волноваться, что нѣтъ ничего проще выяснить это недоразумѣніе, какъ вернуться въ редакцію и по телефону переговорить съ батюшкой—я все-таки не двигался съ мѣста: ропотъ изнемогающаго отъ мукъ тѣла властнѣе сознанія внушалъ, что всякія переговоры бесплодны, что полоса истинно-человѣческаго отношенія кончилась, что наступила другая—полоса безразличія, равнодушія,—то, что уже неспособно чувствовать свою жестокость, то, что уже не можетъ содрагаться передъ страданіями человѣка.

Припомнилось то участіе, проявленное, когда я къ батюшкѣ явился въ первый разъ: «Сюда,

человѣку вашего здоровья, трудно ѣхать. Отвѣтъ я вамъ дамъ письменно». Тогда, значить, понималъ, предусмотрѣлъ облегченіе, а теперь... путь до Гороховой для меня вдвое больше, чѣмъ до Новой деревни? Посылать такую развалину, когда есть телефонъ? Развѣ не ясно: прошло столько времени, а что сдѣлано положительнаго?

Я началъ спускаться съ лѣстницы. Нужна была боль духа, чтобы побороть власть боли тѣла.

Съ потемнѣвшими глазами, я пересаживался съ конки на конку, лѣзло мое горе по витымъ и крутымъ лѣстницамъ на трехъ-копѣечныя мѣста—человѣческая подлость и пошлость добивалась и тутъ:

— Да лѣзьте же. Не задерживайте другихъ!

— Вотъ она жадность то! Ыхалъ бы за пятакъ, коли Богъ убилъ, но нѣтъ—претъ на экономію.

Мутилось зрѣніе, невидящимъ взоромъ я блуждалъ по лицамъ оскотинѣвшихъ и дико озлобленныхъ рабовъ города—и рядомъ съ отвращеніемъ къ нимъ, появлялась жалость:

— Не вѣдаютъ, что творять.

Но тамъ, въ полѣ внутренняго зрѣнія, стоялъ человѣкъ,—прославленный, поднятый выше толпы, одинъ изъ числа лучшихъ людей своей страны,—которой поднималъ во мнѣ бурю разнообразныхъ чувствъ,

«Вотъ они эти учителя жизни... Гремящіе успѣхами своихъ бесѣдъ даже въ Маріинскихъ

дворцахъ,—величественные и многомогущіе издали, а вблизи—прошло нѣсколько мѣсяцевъ, а что въ результатѣ? Только пока слова, за вѣру въ которыя жестоко расплачиваешься, только пока благія обѣщанія—благія обѣщанія претворяющіяся въ дѣйствительности въ издѣвательство надъ загнаннымъ человѣкомъ».

Когда я добрался до дому и немного отлежался—я раскаялся: «Эхъ, голова. И неблагодарная голова! У человѣка по горло дѣлъ, не трудно о какомъ то разсказѣ и забыть—и на одномъ этомъ строить Богъ знаетъ какое обвиненіе!»

Я раскаялся, но отъ безотчетнаго чувства какой то тяжести, отъ странно повышеннаго состоянія нервъ отдѣлаться не могъ.

Было нѣчто похожее на то, что бываетъ съ людьми, страдающими грозо-боязнью: напрасно они смотрятъ на небо и не видя никакихъ зловѣщихъ признаковъ, увѣряютъ себя, что тревога безосновательна, что небо ясно, но какъ бы они себя не увѣряли—глухое и тягостное предчувствіе ихъ не оставитъ.

Мучительно хотѣлось скорѣе разсѣять это состояніе, но ревматизмъ настолько разошелся, что о поѣздкѣ къ батюшкѣ нечего было и думать.

Я написалъ письмо—съ просьбой извѣстить меня, въ какомъ положеніи вопросъ о мѣстѣ. Отвѣта не было. Продолжалъ я его цѣлую недѣ-

лю, каждый день утѣшая себя, что онъ очень занятъ, разсѣянъ, что если не нынче, такъ завтра, но онъ отвѣтитъ, а безпокойство все росло и, наконецъ, я не выдержалъ.

И путь до Новой деревни—это было самоистязаніе не столько во имя самосохраненія, сколько во имя вѣры въ человѣка.

Когда я добрался до особняка, передъ которымъ бѣдняки испытываютъ смущеніе, и когда оказалось, что «батюшки нѣтъ дома», а на мой вопросъ, когда онъ будетъ, я получилъ отвѣтъ: «Теперь долго не будетъ. Уѣхалъ до осени»—я прислугѣ не повѣрилъ и письменно попросилъ свѣдѣній у «матушки».

Она мнѣ на жалкомъ клочкѣ бумаги отвѣтила:

«Уѣхалъ за границу. Пасху намѣренъ провести въ Старомъ Іерусалимѣ; въ Петербургѣ будетъ не раньше осени или зимы».

Мое безпокойство сразу разрѣшилось. Тихо, чудовищно-пусто на душѣ, тѣло мое—до такой степени упало самоощущеніе—не мое тѣло, ни мысли, ни чувства, кромѣ одного ощущенія, что на такое извѣстіе ты реагировалъ судорожно-искривленной улыбкой.

Я вышелъ изъ особняка, въ послѣдній разъ взглянулъ на художественную рѣзбу массивныхъ дверей и отправился во свояси.

«Ты нишій,—говорилъ я себѣ во всю доро-

гу:—Ты въ самомъ началѣ оговаривалъ, что не хочешь милостыни—но тебѣ бросали милостыню, а когда это надоѣло, тебѣ сказали: нищій, довольно, больше не дадимъ!»!

Я поражался своимъ безразличіемъ и, повторяя тяжкія слова, желалъ воспламенить себя до гнѣва, до злобы, до проклятія, но тихо, чудовищно-пусто на душѣ, а въ мірѣ безконечныхъ ощущеній, одно ощущеніе: судорожно-искривленная улыбка.

Съ ней и домой пріѣхалъ. Не жаль было сестры, ея наивно-завѣтной мечты о машинѣ—вошелъ и прямо поразилъ:

— Вотъ и конецъ. Бросилъ на произволъ судьбы. Человѣкъ ищущій помощи, ищущій того, чтобы его упавшаго подняли на ноги—мячикъ. Если не убито униженіемъ отъ одного, отъ другого, отъ третьяго желаніе жить—значитъ запа-сайся терпѣніемъ, учись глотать униженія и перебрасывайся съ рукъ на руки.

Сестра поняла сразу—но тѣмъ забытымъ сознаніемъ, которое не сразу принимаетъ жуть дѣйствительности; она силялась сдѣлать спокойно-недоумѣвающее лицо:

— Бросилъ? Кто бросилъ? Говори толкомъ.

— Кто? Извѣстно кто—батюшка.

По ея лицу побѣждала мелкая дрожь.

— Ты не шути. Какъ онъ можетъ бросить *)).

*) Бѣдная женщина: когда она приводила въ порядокъ мой письменный столъ, она съ такимъ благоговѣніемъ.

А мѣсто то? Человѣкъ ждалъ-ждалъ—и вдругъ ничего.

— А очень, сестра, просто бросилъ: взялъ и уѣхалъ.

— Ну, пріѣдетъ.

— Конечно пріѣдетъ. Но не раньше осени или зимы.

— «Осени или зимы»? А чѣмъ жить то?

— На этотъ счетъ, сестра, не мѣшало бы спросить батюшку.

Сестра на минуту замолкла. Потомъ—вспыхнули упреки, подавленные слезы, сожалѣнія о томъ, что такъ глупо довѣрилась,—было то, что разъединяетъ кровныхъ, то что омрачаетъ скорбью воспоминанія о юности.

Я молча перенесъ эту сцену.

А на другой день, сестра сдѣлала открытіе:

— Черезъ недѣлю Пасха. Къ какому празднику онъ тебя такъ подвелъ? Я изъ своихъ денегъ больше ни копѣйки не возьму: хоть какуюнибудь старенькую машину на нихъ куплю.

— Можешь,—отозвался я.

— Конечно, могу. Но только, какъ же Пасха-то? Такой большой праздникъ... Неужели голодать будемъ?

Я молчалъ. Помолчала и она—и нерѣшительно предложила:

точно считала себя недостойной, касалась книгъ батюшки, данныя мнѣ, имъ-же.

— Знаю: самъ ты не пойдешь. Но если хочешь—напиши женѣ батюшки, а я снесу? Можеть, она что нибудь и дастъ: такой, вѣдь, праздникъ!

— Сомнѣваюсь.

— Ну, а все-таки.

Не уважая «батюшки», я могъ не считаться и «съ матушкой».

Я сѣлъ и написалъ, что внезапный для меня отѣздъ батюшки, оставилъ меня къ Пасхѣ безъ копѣйки и, если матушка проникнется христіанскимъ милосердіемъ къ такому празднику—я, если обстоятельства дадутъ мнѣ эту возможность, верну матушкѣ помощь съ благодарностью.

Сестра вернулась съ устнымъ отвѣтомъ:

— Ничего не дала. Прямо при прислугѣхъ мнѣ сказала: «Передайте брату, что батюшка помогалъ ему, сколько могъ; теперь помочь не можемъ». Я не помню, какъ я вышла. Ну, сказала бы одной, а зачѣмъ же при прислугѣ? Чуть-чуть я не сказала ей: мой братъ—не уличный нищій.

Я улынулся. Не было не малѣйшаго чувства горечи: «матушка» за мораль своего «батюшки» не отвѣтственна!

Сестра тяжело вздохнула: жаль разставаться съ мечтой хоть о старенькой машинѣ, а приходится.

— Можешь и не брать,—замѣтилъ я.

— А что же будемъ дѣлать?

— Ничего.

Сестра уныло отмахнулась рукой и полѣзла за книжкой:

— «Ничего». Тоже скажетъ. Не умирать-же. Очень много будетъ чести!

Я съ удивленіемъ взглянулъ на сестру—такая святая простота, а что изрекаетъ: «очень много будетъ чести». Она меня встряхнула: у меня было безразличіе, граничащее съ тѣмъ, когда легко рѣшаются, что жить не стоитъ. На минуту явилось бодрое чувство: «Неужели сдаваться? Моего отца на конюшнѣ драли, а вѣдь, выжилъ, и умеръ, хоть бѣднымъ, но честнымъ человѣкомъ. Развѣ уже весь порошокъ въ пороховницѣ?».

Но, когда я машинально подошелъ къ окну и брандмауеръ тупо всталъ передъ моими глазами, напоминая, что за нимъ городъ, то, что мнѣ не обойти, это гнусное капище разнузданныхъ божковъ и униженныхъ, раздавленныхъ людей—исчезло бодрое чувство.

Припомнилась пора, пора здоровья, крѣпкихъ мускуловъ, пора, когда безъ копѣйки смѣло кочевалъ изъ города въ городъ, когда на алчность Капитала и жадность подленькихъ людей—отзывался незлобивымъ смѣхомъ: «Жри мое!» «Поставь на свѣчки!»—припомнилась эта гордая, независимая пора и голова безсильно склонилась внизъ.

Долго я стоялъ у окна, а когда отошелъ— во мнѣ опять заговорила кровь потомка крѣпостного раба.

Вновь я принималъ душу шемащій темный путь «человѣка—мячика» уже безъ вѣры въ благородство «благодѣтелей», а со взглядомъ, гдѣ невольно вспыхиваютъ огоньки ненависти.

1

Дни до Пасхи и пасхальные дни—утрумо и сурово проходилъ каждый день и, уходя, оставлялъ во мнѣ долю выпитаго за день яда.

Помимо воли мыслящее сознаніе, вибрирующіе напряженнымъ трепетомъ нервы—съ такими милыми качествами немыслимо закрыть глаза на уроки жизни.

Скрытая для другихъ, зіяющая для меня, моя рана болѣла неустанно, доводила моментами до той остроты, когда внутренне изнемогаешь, мечешься, падаешь отъ влитой въ тебя отравы и слѣпо бросаешься на то, что кажется противодіемъ: тянуло «къ наставленіямъ» батюшки, какъ алкоголика къ запою.

Минутами здоровое чувство говорило: что не надо касаться этихъ наставленій, этой морали сытаго буржуа въ рясахъ, но куда же: больной склоненъ поддаваться больше эксцессамъ своей болѣзни, чѣмъ совѣтамъ врача.

Присядешь къ столу. Вотъ первое наставленіе: рецепты по Евангелію!

Еще не добрался до первой страницы, видишь только еще обложку, заголовокъ, но уже чувствуешь, что фізіономія твоя искажена судорожно-искривленной улыбкой.

И боль негодованія, боль глубоко оскорбленной гордости, боль такъ желаемая, когда скверняющая лицо гостя появилась на немъ впервые,—эта боль приходитъ, кричитъ:

«Нищій! Какъ унизили? За что? Ты извивался подъ бичемъ недуга и никогда не заикнулся о помощи противъ немощи тѣла: оцѣнили-ли красоту такого страданія? Ты пришелъ за волшебнымъ словомъ, которое бы вздохнуло смысломъ и цѣль въ поиски твоего разума, тебѣ вмѣсто такого слова наглядно показали, какой позорный разладъ можетъ уживаться рядомъ съ совѣстью писателя. Воспѣваемый на бумагахъ отвлеченный талантъ-самородокъ неявляйся къ намъ въ реальномъ видѣ, ибо наша житейская, повседневная мораль—это: «Осади назадъ! Туда, въ тьму невѣжества, въ тиски нужды. Осади назадъ: нищій!»

Отвернешь обложку, заглянешь въ первую страницу, во вторую—все это уже знакомо, читано и принято на вѣру, что прекрасное въ этихъ строкахъ составное души писателя, неотдѣлимое отъ его совѣсти—но увы и ахъ... уже страшно заглядывать дальше и отбросишь книгу.

«Первый пастырь, встрѣтившійся на твоихъ путяхъ... Пастырь, варьирующий на тысячу ладовъ

притчу о заблудшей овцѣ... Пастырь, научившій тебя понимать, что «Евангеліе, какъ основа жизни» — это только красивая, возвышающая насъ теорія, непримѣнимая къ практикѣ въ жизни: у жизни свое евангеліе — и притчи изъ него, подобны притчѣ съ тобой».

Отойдешь отъ стола, побродишь по комнатѣ, ляжешь на постель: когда боль претворяется въ самоистязующее наслажденіе — безъ боли нестерпимая тоска.

Это нѣчто вродѣ неугомонно-ноющего зуба — и не лучше сдѣлаешь, когда его начинаешь изступленно раскачивать, творить бесплодныя попытки вырвать пальцами — и все таки дѣлаешь.

— Нѣтъ, погоди. Есть еще рецептъ спасенія «заблудшихъ овецъ».

Берется книга, перелистываются страницы и говорятъ, говорятъ, говорятъ...

Я читаю — и я доволенъ, я вознагражденъ!

Читатель, вѣрите только такому писателю, котораго хорошо знаете лично: зная его, вы поймете, гдѣ у него *только поза* и, гдѣ его истинное я. Въ противномъ случаѣ, — только, можетъ быть, изъ тысячи одинъ изъ современныхъ писателей не введетъ васъ въ заблужденіе.

Я читаю поучительную повѣсть о томъ, какъ алкоголика спасаютъ отъ его порока и направляютъ на путь истинный. Всѣ въ этой повѣсти какъ то сказочно быстро, безъ трений идутъ къ возрожденію.

Я читаю такую повѣсть и думаю, что я не алкоголикъ, но что, можетъ быть, не далеко то время, когда... возьму я эти гимны добродѣтели, данныя мнѣ къ тому же самимъ авторомъ, и... катну за полбутылки!

О, эти измышленія кабинетнаго человѣка, книжнаго крота, знающаго многообразную муку жизни настолько, сколько можетъ дать книга, фантазія въ теплѣ и уютѣ своего кабинета, личныя наблюденія обезпеченнаго человѣка — тѣ наблюденія, когда сытое брюхо не понимаетъ голода, когда здоровое тѣло не можетъ почувствовать муки въ тѣлѣ крѣпящагося больного!

Но жизнь не кабинетъ, не книга, не самовлюбленная фантазія, наивно полагающая, что она спасаетъ человѣчество; жизнь не смѣется только надъ тѣми творцами, которые побывали во всѣхъ ея передѣлкахъ, а остальные — когда приходитъ къ нимъ сама жизнь, подлинная, настоящая, безъ прикрасъ — со всѣмъ своимъ ужасомъ и свѣтлой красотой, — не поймутъ слѣпые творцы ея скрытой красоты, а равно и ея кричащаго ужаса: все будетъ для нихъ надписью безъ смысла, крикомъ безъ значенія.

Я читалъ. Столько этихъ наставленій *), что меня начинала охватывать «словобоязнь».

Тогда я рѣшалъ, что на сегодняшний день довольно. Да уже и дню давно конецъ. Ночь.

*) Сколько ихъ было и будетъ еще послѣ великой Жемчужины міра?!

Тишина. Бросишься въ постель: а можетъ, потихнеть? Иллюзія!

Тишина. Изъ сосѣднихъ комнатъ—ни звука. Ничто не отвлечетъ. И вотъ тутъ-то опять учтешь: съ чѣмъ ты пришелъ и, что тебѣ дали?

Эхъ, молодость, плохо цѣнятся твои святые порывы: развернуть свои силы, небезплодно и не постыдно сгорѣть на огнѣ бытія!

Въ тишинѣ ночи мнѣ до ужаса ясно становилось, что за страстное самолюбіе я принесъ «къ первому пастырю»; не то ложное, что въ ущербъ человѣку, ниже его достоинства, а то, что поднимаетъ личность, даетъ ей страсть напряженія въ поискахъ истиннаго, совершеннаго—то безконечно цѣнное, что жаждетъ Жизни и Человѣка и вѣрить въ жизнь и въ человека кипучей кровью молодости, яснымъ, свѣтымъ сознаніемъ, которое еще не растлѣно жестокосердіемъ, не тронуто человѣко-ненавистничествомъ.

Я принесъ *большое положительное*—мнѣ дали *большое отрицательное*.

Въ тишинѣ ночи я рѣшалъ задачу: положительное—отрицательное—дай Богъ, если остается половина положительнаго.

И такъ иногда порывало въ этой тишинѣ крикнуть—пусть сочтутъ безумнымъ!—но крикнуть:

— Эхъ, вы, апостолы съ маленькой буквы, апостолы безъ паствы, учителя безъ учениковъ, апостолы—только съ большой аудиторіей, но съ тѣми

жалко-ничтожными результатами, про которые Щедринъ сказалъ: «Писатель пописываетъ, а читатель почитываетъ».

Пописывайте, господа!

~~~~~  
Прошли Пасхальные дни и неволя меня погнала на болѣе широкое знакомство съ творцами литературной «Толкучки» \*).

Темный, непросвѣщенный—я долженъ былъ на горькомъ жизненномъ опытѣ постигать, что литературная толкучка не такъ проста, а главное—такъ чудовищно далека отъ того, что мнилось моему честному сознанію дикаря.

Дистанція—огромная, подавляющая.

Я увидѣлъ, что «на толкучкѣ» есть прилавки: чисто художественные, метафизическіе, научные; я понялъ, что каждый торгашъ разсматриваетъ человѣка и душу его только съ точки зрѣнія содержимости своего прилавка: «Эй, человѣче, все, что нужно для благодати твоей и для спасенія твоего—все у меня: двигайся ко мнѣ!»

Тутъ и позитивисты и христіане, тутъ реалисты и крайніе индивидуалисты—однимъ словомъ я натолкнулся на такую неразбериху, точныя

\*) Есть въ одномъ провинціальномъ городѣ рынокъ, называемый «толкучкой», гдѣ торгуютъ исключительно завалью, старьемъ и, скверно, «на мальханъ сдѣланными» новыми вещами.



разграниченія въ которой для моего ума оказались не подѣ силу: чтобы хорошо знать всѣ многочисленныя ярлычки, всѣ оттѣнки и различія всѣхъ идущихъ подѣ флагомъ искусства,— для этого нужно лѣтъ пять или десять сидѣть въ кабинетѣ и читать откровения всѣхъ этихъ господъ. Но къ несчастью, а вмѣстѣ съ тѣмъ и къ счастью, ибо, вѣдь, нѣтъ худа безъ добра: жизнь для меня была—не кабинетъ, не спокойное сѣпленіе дней, мѣсяцевъ и годовъ, когда не нужно думать о кускѣ хлѣба на завтра, о кровѣ на ночь.

Да, я по своему невѣдству не могъ знать всѣхъ разграниченій между дѣятелями «искусства» по при столкновении съ ними чутко улавливалъ одну, всѣмъ общую черту; смертельные враги за товаръ своихъ прилавковъ, какъ будто бы ни съ какой стороны не похожіе другъ на друга, эти господа, за рѣдкими исключеніями, роднились этой общей чертой другъ съ другомъ, какъ двѣ капли воды.

Когда я сталкивался съ ними, когда нужда своей страшной пятой давила мнѣ на горло и рвала крикъ: «Спасите!» я при видѣ этихъ господъ не только не могъ даже заикнуться о томъ, что я отчаянно нуждаюсь, но всѣми силами старался скрыть это.

Но какъ скрыть то, что нельзя скрыть, убогую, ветхую одежду, стоптанную обувь, истощенное недоѣданіемъ и болѣзнью лицо и тоску

глазъ—безпредѣльную тоску человѣка, который все болѣе и болѣе убѣждается, что травля на него—травля на смерть, травля, гдѣ нельзя крикнуть, что тебя вездѣ и всюду только добиваютъ, травля,—забронированная кодексомъ лицемерной морали, травля,—порождающая безуміе и преступленія, травля, гдѣ предсмертный стонъ добытаго замираетъ никѣмъ не понятый, не услышанный?

Этого не скроешь—всѣ сколько нибудь видныя редакціи Петербурга я обошелъ и вездѣ встрѣтилъ одинъ и тотъ же пріемъ. О, какъ милы въ этихъ редакціяхъ люди съ тѣми поспѣтителями, кто облеченъ въ хорошій костюмъ, кто бросается въ глаза своимъ сытымъ дородствомъ, или изысканностью манеръ той утонченной жизни, на которую никогда не накладывалась проклятая печать истинной нужды!

Безконечно милы, неописуемо милы, и—безконечно, неописуемо жестоки къ тѣмъ, которые безмолвно, однимъ своимъ видомъ напоминаютъ о непріятномъ: о долгѣ человѣка!

Говорятъ, что философія, это удѣлъ избранныхъ.

Это—ложь. Самые маленькіе, самые ограниченные люди—философы. И философіи не маленькой—философіи поставленной во главу угла жизни.

Философія за *человѣка*—это бредни, это внѣ жизни, это только прекрасная абстракція на



бумагъ, а въ жизни—самъ творецъ этой абстракціи забываетъ ея красоту и уподобляется философу другого сорта: *противъ человека*.

Въ жизни—исповѣдь звѣринаго принципа, а пожалуй и ниже, ибо не дано міру животныхъ разума человека. \*)

И, вполнѣ, мнѣ кажется, естественно, что если творцы философіи за человека—въ дѣйствительности противъ человека—то, что остается тѣмъ, которые «не въ цѣхъ» избранныхъ: развѣ они не въ правѣ думать, что имъ-то такъ поступать и самъ Богъ велѣлъ?

И вотъ,—въ какую бы редакцію я не пришелъ—я встрѣчалъ одинъ и тотъ же пріемъ.

Неописуемо милые люди съ другими—эти же люди со мной,—давали мнѣ наглядные уроки искусства моментальныхъ превращеній.

Это—философы. Что имъ мои страданія, мой ужасъ, затравленнаго нуждою и болѣзнью человека, что имъ я—маленькій, незамѣтный, погибающій въ огромномъ городѣ, но не существующій съ ихъ точки зрѣнія въ этомъ городѣ, что имъ я, когда передъ мной такіе философы: у

\*) Извиняюсь передъ читателемъ за то, что я увлекся не въ свою область—это уже задача зоопсихологій. Можетъ быть, когда эта наука изучитъ внутренній міръ животныхъ и... вдругъ придетъ къ страшному выводу, что человекъ ниже звѣря—простите читатель, я увлекся мыслью, что, можетъ быть, тогда человечество искренно покраснѣетъ и станетъ лучше...

всѣхъ моментально дѣлаются такіа лица, которымъ не до меня, не до моихъ низменныхъ земныхъ скорбей, они живутъ абстракціей, они ушли въ созерцаніе вѣчныхъ идей, поднялись на такую высоту, гдѣ говорить съ ними о томъ, что ты живое существо, изнемогающее въ борьбѣ за свое право жить—у нихъ такіа лица, что говорить имъ объ этомъ,—это значить сдѣлать не только смѣшной, неумѣстный, непростительный поступокъ, но и оскорбить ихъ пошлостью. И я не говорилъ, не заикался: отъ такихъ философовъ языкъ нѣмѣетъ.

Я не говорилъ, но у меня, вѣдь, имѣются глаза: я видѣлъ, что за этой моментальной маской живетъ такой же человекъ, какъ я, что, если бы такого философа втиснуть въ мою шкуру, онъ не постѣснялся бы волкомъ взвыть, что страданіе его—это не лживыя призраки, не фикція, а нѣчто очень реальное и непримиримо-враждебное той проклятой философіи, которая учитъ на муку жизни смотрѣть съ холоднымъ безстрастіемъ.

Я видѣлъ такихъ господъ и уходя отъ нихъ—думалъ:

— Вотъ—Диогены XX вѣка. Въмѣсто бочки они имѣютъ или страстно желаютъ имѣть такіе особняки, передъ чѣмъ бѣдняки должны испытать смущеніе, вмѣсто черепка—севрскій фарфоръ. Вотъ,—Диогены бывшіе, настоящие, раздѣвившіе міръ, милліоны паразитовъ—отнявшіе



у миллиардовъ людей послѣднее: развѣ въ сырые и темные подвалы бѣдняковъ заглядываетъ солнце?! Какъ низка и гнусна должна быть философія такихъ Диогеновъ, когда ее въ силахъ воспринять самые недалекіе, самые ограниченные люди: великое ограниченности не дается!

Въ первыхъ числахъ іюня я остался одинъ: уѣхала сестра. Мужъ ея поселился въ Финляндіи и написалъ ей, чтобы она пріѣзжала къ нему, что онъ теперь одумался — не пить и впредь не будетъ.

Она показала мнѣ это письмо — я спросилъ: — Ты вѣришь?

Сестра покачала головой.

— Нѣтъ. Сто разъ такія обѣщанія слышала.

А на слѣдующій день — собралась и уѣхала.

Тяжки были послѣднія минуты. Съ потемнѣвшимъ лицомъ она собирала свои убогіе пожитки; движенія рукъ были порывисты, рѣзки, на меня невольно бросила нѣсколько косыхъ взглядовъ. Я крѣпился — нелѣпо было говорить объ этомъ — и все таки не выдержалъ:

— Куда ты ѣдешь? На что?

Она оторвалась отъ сборовъ, взглянула мнѣ прямо въ глаза — и глухо бросила:

— Разъ ѣду — такъ, стало быть, знаю на что.

Помолчала.

— Тутъ работы нѣтъ. У тебя тоже ничего

не выходить. Къ чему мнѣ здѣсь оставаться? А тамъ, можетъ быть, работа будетъ. Что онъ не броситъ пить — это я знаю. На него не надѣюсь. Только на себя.

Еще помолчала — и съ глубокимъ вздохомъ:

— Будь бы машина — не поѣхала бы. Заказовъ нѣтъ — на рынокъ можно работать. Хоть и дешево, а все не безъ хлѣба. Горе одно: при немъ деньги были — машины нельзя было купить; его нѣтъ — деньги прожиты.

Ахъ, эта машина. Я понурилъ голову. Невыразимо, стыдно и тяжело было за себя и «за благодѣтеля въ рясахъ»: вотъ результатъ — мы отняли у бѣдной женщины машину, необходимое средство къ существованію!

Я было занкнулся о томъ, чтобы сестра на меня не сердилась:

— Пойми: вѣдь, меня обманули... Если бы я зналъ, что...

Она, обрывая меня, отмахнулась сурово рукой:

— Понимаю. Не маленькая. И зачѣмъ объ этомъ говорить? Легче отъ этого не будетъ. Вообще...

И не договорила. Слезы безумнаго сожалѣнія дрогнули въ ея голосѣ; поспѣшно она увязала въ узелокъ свои пожитки и протянула мнѣ руку:

— Ну, до свиданія. Если... Богъ дастъ свидѣться. Вмѣстѣ горе мыкать лучше, а ничего не подѣлаешь: приходится порознь. До свиданія!

Я не видѣлъ ея лица, но чувствовалъ тотъ



ужась, который видѣлъ въ ея глазахъ при воспоминаніи о мужѣ.

И съ тою тупостью, когда острога чувства раздавлена непосильностью переживанія, неуклюже думалъ: «Вотъ ѣдетъ. На муку, на издѣвательство, а ѣдетъ. Вотъ, на что ѣдетъ».

Неслышно выскользнула изъ комнаты сестра и, какъ эхо, донесся изъ корридора ко мнѣ въ комнату ея голосъ:

— Да... совсѣмъ забыла... Тамъ въ столѣ... послѣднія взяла и подѣлила...

Я открылъ ящикъ стола: на виду положены два рубля.

Въ состояніи, когда не вполне отдаешь себѣ отчетъ въ томъ, что дѣлаешь, я взялъ эти деньги, пару рукописей и отправился.

Невыразимо стыдно было за себя и за того — по милости кого это случилось. И всю дорогу я гнѣвно думалъ: «Погоди, если не издохну, я тебѣ напишу: Первый пастырь на моемъ пути, ты сдѣлалъ меня участникомъ поступка болѣе худшаго, если бы мы сняли съ нишаго суму».

Вотъ редакция «Б. В.». Тутъ человѣкъ, которому мнѣ разрѣшено было передать: «Скажите, что это отъ меня». Какъ это легко и какъ малодушно: бросить человѣка, не говоря ему объ этомъ прямо, а давая еще призрачную надежду: «можетъ быть, чтонибудь и устроить». Бросить и отправиться въ Старый Іерусалимъ, чтобы про-

вести пасхальную ночь у гроба Господня \*). И кто это такъ дѣлаетъ — ярый поклонникъ Толстого, того Толстого, у котораго есть рассказъ о двухъ мужикахъ, отправившихся въ Іерусалимъ тоже ко гробу Господню въ пасхальную ночь. \*\*)

Я прѣду въ редакцію и осаживаю назадъ, когда мнѣ сторожъ говоритъ: «Сегодня пріема нѣтъ».

«Пріема нѣтъ». Не хорошо, если я обалдѣлъ до того: лѣзу въ ненадлежащіе дни.

Я немного обезкураженъ. Одинъ изъ моихъ рассказовъ г. А. И. уже читалъ и прислалъ мнѣ такой отвѣтъ.

«Рассказъ мнѣ Вашъ нравится. Въ немъ — чистота чувства, знаніе быта, наблюдательность, отсутствіе манерности. Но помѣстить, къ сожалѣнію, я въ «Б. В.» его все-таки не могу. Для этого онъ великъ. Могъ бы я его устроить въ одинъ журналъ — но и тамъ препятствія: въ рассказѣ есть мѣста не для семейнаго чтенія. Буду радъ, если Вы мнѣ

\*) Объ этомъ писали въ газетахъ. Поймите, читатель, съ какимъ чувствомъ я долженъ былъ это читать, когда этотъ пастырь обрадовалъ меня къ празднику такимъ „краснымъ яичкомъ“.

\*\*) Думаю, что большинству читателей этотъ рассказъ извѣстенъ. — Жизнь, какъ ты иногда зло и жестоко шумишь!..



дадите для этого журнала вещь, но при условіяхъ: семейнаго чтенія и внѣшней сюжетности».

Когда я прочиталъ это письмо — на секунду у меня вспыхнуло бодрое, радостное чувство: «это пишетъ критикъ! Лицо, которое на томъ стоитъ, чтобы отличать въ литературѣ шелуху отъ зеренъ».

Вспыхнуло и погасло.

«Внѣшней сюжетности» вамъ! Талантъ, энергія — все изнашивается въ безмолвіи, гибнетъ отъ незнанія: вы дадите мнѣ пустой, страшный для меня, звукъ: «внѣшняя сюжетность» — но не покажете, не научите, какія детали въ этой внѣшней сюжетности цѣнны и, какія — нѣтъ. Для искусства нужна подходящая среда, нужны сносныя условія существованія, нужны чуткіе люди, необходимые для начинающаго, какъ воздухъ, вы-же, вся ваша литература даете мнѣ атмосферу, гдѣ я ощущаю собственную смерть и ядъ вашихъ заживо разлагающихся труповъ»...

Теперь я ему принесъ маленькій рассказъ, «надъ внѣшней сюжетностью» котораго много ломалъ голову. И раньше были «муки слова», но эти муки были другого сорта: неумѣнье выразить словами пужное настроеніе, мысль, образъ; иногда даже и слова находились — являлась боязнь: какъ бы не хватить черезъ край.

Это частность, а въ общемъ — писалъ такъ,

какъ Богъ на душу положить. И полагаю, что такъ и надо писать.

Но эта «внѣшняя сюжетность», — это требованіе отступать отъ того, какъ вещь выльется изъ души, требованіе уже — *приучаться къ манерности*, раскрашивать содержаніе ловкими литературными оборотами, стилистическими эффектами, фейерверкомъ словъ, — это требованіе толкающее на путь эквилибристики мысли возмутило меня до глубины души: дайте намъ маленькую мысль, обрывокъ мысли, жалкій сколокъ чувства и загримируйте поэфектифъ въ хламиду лжи-выхъ словъ!

Тѣмъ, что пріема нѣтъ — я былъ немного обезкураженъ: настроеніе было изъ такихъ, когда бы я не побоялся поговорить «о внѣшней сюжетности», а попутно высказать и то, что и потрясеніе нанесенное мнѣ велико и условія мои такъ тяжки, гдѣ не до игры словъ.

Отправился я дальше. Вотъ еще редакция.

Тутъ тоже человѣкъ, которому мнѣ разрѣшено передать: «скажите, что это отъ меня».

Здѣсь мнѣ удастся застать нужное лицо. Но... результаты... около двухъ мѣсяцевъ назадъ я отдалъ два рассказа, навѣщалъ нѣсколько разъ по приглашенію: «Придите черезъ недѣльку. Непремѣнно прочту», а потомъ оказывалось, что все: недосугъ, некогда, своей работы много.

Недосугъ помѣшалъ просмотрѣть мои вещи и на этотъ разъ. Я прошу свои рассказы вер-



нута, ихъ куда то засунули и долго ищутъ, наконецъ, находятъ и говорятъ:

— Такъ, мелькомъ, я въ ваши вещи заглядывалъ. И вынести впечатлѣніе, что вы начинаете не безуспѣшно.

Я сурово гляжу на этого человѣка и тонъ мой невольно рѣзокъ:

— Г. Б., этого мнѣ не нужно. Когда я вамъ передавалъ рукописи, я говорилъ, что очень нуждаюсь; вы обѣщались «скоренько просмотрѣть и, если возможно, устроить».

Критикъ обижается:

— Позвольте! У меня не только ваши рукописи, — у меня ихъ груды; наконецъ, своя работа. Странная претензія.

Я уходя. Къ чему разговаривать: сытый голодного не пойметъ!

Куда же еще идти? Развѣ въ «Образованіе».

Не стоитъ ноги бить. Предлагать человѣку моего положенія три мѣсяца на просмотръ рукописи—не стоитъ ноги бить.

Куда же еще? Въ журналъ «Н. П.»

Предо мной встаетъ знакомая фигурка.

Мнѣ еще только 18 лѣтъ. Живу на своей родинѣ. Появляется въ этотъ городъ культуррегеръ пролетаріата, апологетъ социализма. Я — первый рабочій, съ которымъ онъ познакомился, благодаря одной случайности. Онъ пичкаетъ меня книгами. Онъ внушаетъ мнѣ, что рабочій—это стѣна, которая должна остановить шествіе абсо-

люта. Онъ рисуетъ мнѣ, какое огромное зло — милитаризмъ и говоритъ, что борьба рабочаго съ этимъ зломъ должна быть поставлена на первый планъ: милитаризмъ—истощаетъ страну, платежныя силы населенія, приостанавливаетъ культурный ростъ, тормозитъ осуществленіе рабочаго законодательства. Наконецъ, я какъ изъ сознательныхъ элементовъ, поэтому на мнѣ лежитъ неукоснительная обязанность помогать ему въ его дѣлѣ.

Я вѣрю, что долженъ помочь и знакомлю его съ рабочими. Какъ политически высланный въ маленькій городъ, гдѣ подобнаго, кажется, ничего не бывало, онъ для маленькаго города—пугало, таинственная фигура.

Но развѣ подкупленная юность чего боится?

Я охотно дѣлаю все, что онъ мнѣ прикажетъ, но когда его дѣятельность развернулась шире—я позволилъ себѣ не согласиться съ его тактикой.

Рабочимъ, которые до этого читали только Еруслана Лазаревича и Бову-Королевича, онъ сразу началъ преподавать Маркса. Безъ разъясненій. Отхватить 30-50 страницъ—и уходи. Рабочіе уходять съ тупо-недоумѣвающими лицами.

Потомъ тюками начали плавиться прокламаціи въ такую среду, которая не понимаетъ: почему она должна на требованіе жандармеріи отдавать ей эти бумажки.

Такъ и отвѣчали:



— Есть, но не отдамъ. По какому праву я не могу читать?

Я позволилъ себѣ замѣтить такому дѣятелю социализма, что отъ такой тактики много будетъ безплодныхъ жертвъ, что рабочую массу можно только этимъ отпугнуть, не поставивъ дѣла на прочную почву.

Мнѣ дали понять, что я хоть «и сознательный элементъ», но не настолько чтобы учить «Главарей».

Я заблагоразсудилъ отъ такихъ главарей отшатнуться.

И вотъ—встрѣча почти черезъ 9 лѣтъ.

Спрашиваю въ «Н. П.» секретари журнала. Выходитъ человѣче.

— Я—секретарь. Что угодно?

Глазамъ не вѣрю:

— Позвольте васъ спросить: вы не г. Р.

— Я. А что?

Всматривается въ меня черезъ очки, и, наконецъ, узнаетъ.

— Какими судьбами?

Поясняю и излагаю вкратцѣ суть посѣщенія.

Обѣщается постараться всѣми силами. Захожу черезъ недѣлю. Сунулъ равнодушно мнѣ мою вещь, зѣвнулъ.

— У насъ направленіе не то. Тащите въ «Миръ Божій» или въ «Образованіе»—тамъ возьмутъ.

На «возьмутъ» я надежды не питаю, но от-

казъ принимаю, какъ должное: что подѣлаешь, когда направленіе не то.

Любезно освѣдомляется:

— Какъ живете?

Я чистосердечно рассказалъ. Смѣется человѣче,

— Это плохо.

Взялъ меня этотъ смѣхъ заживое. Смотрю на него: маленький, черненькій и остренькій, какъ смертный грѣхъ.

Все тотъ же—безъ перемѣнъ. Какой былъ, такимъ и остался. Восемь съ лишнимъ лѣтъ срокъ не маленький, а для него—на виѣшнюю сторону безъ вліянія. Восемь съ лишнимъ лѣтъ—а пять изъ нихъ пробылъ въ Усть-Сысольскѣ. Но что такое Усть-Сысольскъ для такихъ господъ? Перемѣна мѣста, совершенная съ помпой: ѣхалъ въ обыкновенномъ поѣздѣ въ сопровожденіи жандарма, котораго везъ за собственный счетъ! ѣхалъ съ большимъ багажомъ, съ дорогими ружьями: вотъ, гдѣ поохотиться!

О кускѣ хлѣба въ ссылкѣ нечего думать: мученику за социальное движеніе приплюютъ изъ дому денегъ сколько угодно.

Еще-бы, такая насильственная вынужденность: жизнь въ глуши, оторванность отъ культурныхъ центровъ!

Я смотрю на него, на то, что восемь съ лишнимъ лѣтъ, а онъ безъ перемѣнъ, и припоминаю многихъ, пострадавшихъ по винѣ этого «главаря»: молодые люди, а посѣдѣли нѣкото-



рые, сторбились по старчески за годъ-за два!

Голодъ—не тетка. Ходили жалкіе и униженно предлагали свой трудъ—и ихъ не брали.

Ходили и сожалѣли о тюрьмѣ: тамъ хлѣбомъ кормятъ. Пострадалъ и я: два года девять мѣсяцевъ провелъ на родинѣ безъ права выѣзда, безъ права труда.

Я смотрѣлъ на него и ждалъ: не вспомнить-ли онъ о тѣхъ, которые поспѣли, сторбились, исчезли безслѣдно, а нѣкоторые даже трагически покончили съ собой.

Нѣтъ. Онъ, очевидно, забылъ. Забылъ обманутыхъ, забылъ социализмъ, проповѣдь котораго когда-то ставилъ цѣлью своей жизни: онъ, должно быть, пришелъ къ убѣжденію, что воспріялъ мученическій вѣнецъ—и съ него довольно! Пусть другіе поработаютъ—а съ него довольно.

Онъ не вспомнилъ. Я прямо въ упоръ посмотрѣлъ ему въ глаза и безъ всякихъ подходовъ спросилъ:

— Займите мнѣ рублей десять. Будутъ—отдамъ; нѣтъ—на томъ свѣтѣ угольками сочтемся.

Онъ набивалъ для меня папиросу—бросилъ, всталъ и протянулъ:

— Вотъ, ужъ не могу. Живу на то, что получаю здѣсь: всего на 40 рублей.

— Неужели только на это? А помните, раньше, тамъ, гдѣ мы кашу заварили, вы на уро-

кахъ зарабатывали больше ста рублей--жизнь тамъ въ нѣсколько разъ дешевле, чѣмъ здѣсь, а вамъ еще къ чему-то изъ дому по сто рублей слали?

— Мало, что было. Было, да сплыло.

Я чувствовалъ, что маленькій, черненькій, и остренькій, какъ смертный грѣхъ, этотъ человѣчекъ лжетъ и, порывало меня на грубое, однажды видѣнное.

Въ городскомъ саду рабочій подошелъ къ прилично одѣтому господину и ни слова не говоря заклеилъ ему звонкую пощечину.

Господинъ вскочилъ:

— Это за что?

Рабочій ухмыльнулся и развернулся вторично:

— Ты еще спрашиваешь? Такъ получи еще!

Господинъ съ ногъ долой, а рабочій пошелъ и на ходу объяснилъ:

— А это за подлость. Припомни-ка, и подумай.

Порывало, но я сдержался. Всталъ, простился молчаливымъ кивкомъ головы.

И, стоя у редакціи и спрашивая себя—не идти-ли мнѣ въ «Н. П.»—я пришелъ къ заключенію, что сегодня мнѣ тамъ лучше не бывать: настроеніе изъ такихъ, когда при видѣ господъ Р. \*) нельзя ручаться за себя.

\*) Такимъ все легко дается, ибо они на все легко смотрятъ. Теперь онъ уже писатель съ именемъ: кривляющийся, ломающийся, пишущій по сезону: въ модѣ проблемы пола—онъ пишетъ «о скотоложцахъ». Писатель



Куда же еще? Въ «Мірѣ Божій»? Тамъ тоже сданъ на просмотръ разсказъ—вмѣсто обѣщанныхъ трехъ недѣль, тянутъ уже полтора мѣсяца.

Въ «Мірѣ Божій»—но тамъ сегодня не приемный день.

Куда же еще? Да и стоитъ-ли? Если человѣкъ всюду въ такомъ пренебреженіи—не значитъ-ли это, что есть только литературный рынокъ, ремесленники слова, а такъ высокопарно называемаго «Богоданнаго искусства» нѣтъ. Зарыты таланты въ землю—святое назначеніе таланта поругано, раздавлено, осквернено.

Я долго стою у редакціи «Руси», и наконецъ, рѣшаю ѣхать домой.

Дома меня ждало горькое: съ самой Пасхи все время были полуголодные дни, дни свирѣпой экономіи, но полныхъ голодовокъ не было.

Пришло и это.

Хозяйка, наконецъ-то, поняла, что жилецъ безнадеженъ и взбѣленилась: или плати деньги, или уходи.

Отдалъ ей полтора рубля, а на остальные обманулъ: дня черезъ три-четыре непременно отдамъ!

Черезъ два дня въ «Мірѣ Божьемъ» приемный день.

съ именемъ, не стѣсняющійся списывать у другихъ и выдавать за свое.

Въ этотъ злосчастный день я ничего не вкушалъ—только предвкушалъ,—предстоитъ еще пробыть на пищѣ св. Антонія по меньшей мѣрѣ два дня.

О, эти два дня и серебрянный двугривенный! Лучше бы онъ исчезъ и явился, когда нужно. Неустанно прикована къ нему мысль: есть керосинъ, есть немного чаю,—если купить хлѣба и съ чайкомъ,—это будетъ совсѣмъ недурно!

Но... черезъ два дня въ «Мірѣ Божьемъ» приемный день! Потрать я изъ двугривеннаго нѣсколько копѣекъ—я отъ «Міра Божьяго» буду отрѣзанъ, какъ на необитаемомъ островѣ отъ материка.

Проклятый ревматизмъ!

Я хитеръ: чтобы сохранить побольше силы—я до минимума стараюсь сократить движенія тѣла и лежу дни и ночи этихъ двухъ дней пластомъ на постели.

Къ концу второго дня—соблазнъ двугривеннаго исчезъ: уже твердо, безповоротно я рѣшилъ его не трогать, но... явился новый соблазнъ. Нѣсколько разъ я поднимался съ постели и подходилъ къ окну: брандмауеръ старъ, мѣстами его кирпичъ сильно размякъ, обсыпается и мнѣ кажется, что если этотъ мягкій кирпичъ пожевать—въ немъ долженъ быть какой нибудь вкусъ и элементъ, утоляющій голодъ.

Мнѣ кажется, но вотъ бѣда: брандмауеръ изъ моего окна недосыгаемъ.



Ночью этого дня былъ уже не сонъ, а какое-то безсильно-тревожное забытье, кошмаръ желудка, требующаго хлѣба: безконечная ночь—и сознание есть, что лучше оборвать это состояніе и бодрствовать,—да силъ на это нѣтъ.

Кончился испускъ. Я ѣду и удивляюсь: есть большая слабость, ошутимая легкость тѣла, но въ общемъ—самочувствіе удовлетворительное.

Вотъ и редакція «Міра Божьяго». Но я страшно запоздалъ. Мнѣ указываютъ на часы: пять часовъ, пріемъ конченъ.

Я извиняюсь за опозданіе и говорю, что очень далеко живу, боленъ и мнѣ трудно будетъ побывать въ слѣдующій пріемный день.

Контрощицы спѣшно дописываютъ и щелкаютъ костяшками счетъ. За круглымъ столомъ вдохновители журнала пьютъ чай. Ихъ четверо. Вотъ сѣдовласый старецъ, которому я сдалъ свою рукопись.

— Какъ называется ваша вещь? — спрашиваетъ онъ.

Я называю.

— А когда вы ее сдали?

— Полтора мѣсяца назадъ.

— Не помню такой.

Одинъ изъ четвертыхъ всталъ изъ за стола, пошелъ въ кабинетъ, дверь отворена—мнѣ видно—порылся въ столѣ, напелъ и, возвращаясь, молча подаетъ мнѣ рукопись.

Я смотрю на него, но запомнить хорошо его лица не могъ: у меня помутились глаза.

Кажется передо мной былъ прославленный г. К.

— Позвольте,—говорю я:—Что же вы молча?

— А что жъ вамъ сказать!

— Но вѣдь, рассказъ на просмотрѣ былъ?

— А я, право, этого не знаю.

— Зачѣмъ же вы его возвращаете?

— А затѣмъ, чтобы онъ зря не лежалъ,—и писатель на меня взглянулъ—съ ногъ до головы. Какъ онъ на меня взглянулъ: на мою синюю рубашку, на мою стоптанную обувь, на весь мой жалкій, истерзанный жизнью видъ! \*)

\*) Около пяти лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, а страхъ отъ такого взгляда живетъ во мнѣ и понинѣ. Когда я несъ въ редакцію вещь и учитываю насколько мой внѣшній видъ бѣденъ—я убѣжденъ, что стѣсняться со мной не будутъ, вещи моей не возьмутъ. Думаютъ писать, обиваютъ пороги редакцій—изъ всѣхъ силъ одѣваются по послѣдней модѣ, ибо это спасетъ васъ отъ многихъ терній. Хорошій костюмъ, заграничная обувь, модный галстухъ ни на одну іоту не прибавятъ цѣннаго къ написанному вами, но они вселятъ къ вамъ уваженіе, нужное приличіе, они поднимутъ ваши фонды. Какъ это ни дико—но это такъ: всѣ редакціи нашего многоумнаго времени полагаютъ, что хорошія вещи могутъ писать только имѣющіе возможность имѣть модно-внѣшній видъ; не имѣющіе такого вида—по мнѣнію редакцій не имѣютъ данныхъ и писать. Съ этимъ не согласится ни одна редакція—ибо это такъ дико, но это такъ: дошло до того, что бѣдность и въ храмахъ слова въ полномъ загонѣ! Одѣвайтесь и обувайтесь по модѣ изъ всѣхъ силъ: въ против-



Я, ошеломленный окончательно, замолкъ.

Онъ тоже немного помолчалъ, а потомъ:

— Вотъ что, молодой человѣкъ. Какъ, видно, вы хотите, чтобы редакція вашъ рассказъ просмотрѣла. Посмотрѣть можно. Отчего же. Но это будетъ бесполезно: матеріалу въ портфель редакціи отъ сотрудниковъ съ именами заваль.

Я молчалъ.

Онъ сказалъ еще:

— Поняли?

Онъ вообразилъ, что я не понялъ!

Я взялъ свою рукопись и пошелъ: гдѣ-же, гдѣ въ такихъ мѣстахъ встрѣтить хоть простую честность, хоть малѣйшую жалость къ человѣку? При такомъ дѣлѣ—и развилось, обострилось что то такое страшное, противоестественное?!

Я шелъ машинально, безъ цѣли, куда попало, съ низко опущенной головой и, когда поднялъ ее,—передо мной былъ Невскій проспектъ.

«Міръ Божій» (какова пропія?) угостилъ меня такъ, что я не чувствовалъ ни голода, ни слабости, мысль встряхнули до остроты.

Я прижался къ стѣнѣ одного дома и стоялъ. Городъ. Городъ! Вотъ, твоя улица: обаятельная, какъ волшебное марево—проклятое марево, гдѣ гибнетъ человѣкъ, его лицо.

Всмотритесь въ толпу города—въ ту толпу, номъ случаѣ васъ скоро добьютъ. Никогда не забывайте, что наше время—время эстетовъ!

которая въ опредѣленный часъ спѣшитъ въ наиболѣе жадную пасть его.

Каждый хочетъ походить на всѣхъ костюмомъ, манерами и лицомъ.

Какой этотъ ужасъ для того, кто подмѣчаетъ, чувствуетъ, что нѣтъ ни одного лица похожаго на другое, что каждое лицо—это опредѣленная форма, которая точнаго повторенія никогда не найдетъ себѣ во всемъ мірѣ.

Одна мало-замѣтная черточка, одна трудно уловимая линія—но уже разница, разница говорящая о своей, о строго особой психо-физической организаціи.

А они изъ всѣхъ силъ лѣзутъ каждый походить на всѣхъ!

Красивая, стройная, элегантная цѣпь—кого тутъ нѣтъ?—Лучшій цвѣтъ общества и подонки его но какъ тѣ, такъ и другіе—жалкое, одурманенное человѣческое стадо, стадо загнанное въ красивую, пеструю, чинную суматоху стада безнадежно зараженное духомъ обогащенія во чтобы то ни стало, духомъ зависти, неуваженія къ чужому.

Городъ растлилъ совѣсть человѣка—ту святую цѣнность души, которая на каждый нашъ поступокъ, на помыселъ моментально реагируетъ указаніемъ: къ разряду зла или добра, къ разряду разума или безумія можетъ быть отнесенъ помыселъ или поступокъ.

Городъ растлилъ эту святую—и вотъ человѣкъ звѣрь, человѣкъ-слѣпецъ, незамѣчающій,



что онъ блуждаетъ надъ пропастью, срывается и летитъ туда: о, какая эта насмѣшливая, жестокая, лживая, равнодушная ко всему, кромѣ своего я, толпа Невскаго!

Она течетъ, сгущается и лжетъ, лжетъ и лжетъ.

Вотъ блестятъ похотью глаза, тихо звучать слова соблазна, слова торга—сегодня будетъ, какъ и всегда, много купли и продажи тѣла, сегодня будетъ, какъ и всегда, много обману-тыхъ!

Вотъ идетъ буржуа и говорить громко дѣль-цу такой же масти:

— Жизнь, говорите, тяжела. А съ чего бы ей быть легче? Реформы, батенька, нужны, въ широкомъ смыслѣ реформы общественно-политическія! А гдѣ онѣ?

Я улыбаюсь: «Да, да, реформы нужны, но къ реформамъ нужны и заповѣди: безъ нихъ твой неутолимый аппетитъ при какихъ угодно реформахъ сумѣетъ выжимать изъ трудящагося кровь и потъ»!

Вотъ, какой-то юркій «обхаживатель» внушаетъ молоденькой дамочкѣ—и даже глаза подъ лобъ закатилъ:

— «Жить — руководясь нравственной истиной»... Однако сказали! Что такое нравственная истина—мы этого точно не знаемъ.

Я улыбаюсь: «Лжешь, негодяй. Имѣй совѣсть,—а остальное приложится».

Вотъ идетъ студентъ. Юный совѣтъ, съ чуть

пробивающимися усиками, съ дѣвическимъ румянцемъ,—изо всей этой чинной, ведущей себя по извѣстной выдержкѣ, толпы, онъ одинъ не считается съ общимъ тономъ,—звонящимъ голо-сомъ, сильно жестикулируя, пожилой дамѣ возражаетъ:

— Что вы? Помилуйте! Немыслимо. Деспотизмъ правительства задавить все благія начинанія. Общество совершенно передъ нимъ без-помощно...

Милый юноша! Будь въ Россіи тысяча людей, людей дѣла, уважающихъ въ себѣ личность, людей, у которыхъ высота сознанія не была бы въ такомъ позорномъ разладѣ съ дѣломъ—деспотизмъ передъ авторитетомъ такой тысячи дрогнулъ бы. Испанская инквизиція сожгла и замучила десятки тысячъ людей, но посягнуть одновременно на тысячу лучшихъ людей страны сразу—она не осмѣлилась бы.

«Общество безпомощно».

Милый юноша! Разбросанность, отсутствіе цѣльности, вѣчная раздвоенность—обречено на безсиліе, на дряхлый маразмъ психики: противное явленіе, анти-человѣческое явленіе то, что слыветъ подъ именемъ современнаго культурнаго человѣка. Отсюда—общество безпомощно!

Милый юноша! Нѣтъ въ наше время учителей, которые бы возвышались надъ жизнью, были бы факелами правды и стоицизма. «Пророки» нашего времени *безлюбивы*—изжили себя! «Пророки»



нашего времени пошлы: они надменно смотрятъ на толпу съ какихъ-то воображаемыхъ ими высотъ—и канканируютъ передъ толпой, пресмыкаются подъ ея низменные вкусы, дабы заполучить отъ толпы лавры. Они воображаютъ, что они что то дѣлаютъ, чему-то служатъ—но они изжили себя: пассивные паразиты! Утонченные эстеты въ области своихъ переживаній, чувствованій, часто-умные люди въ сферѣ мысли—но безконечно далекие отъ человѣка въ собственномъ смыслѣ и отъ общечеловѣка—эти эстеты свиньи въ жизни. Имъ отъ роли пророковъ нужно отречься, но лишенные огня совѣсти—они не отрекутся. Милый юноша, можетъ быть, грядутъ пророки безъ ковычекъ—тѣ, что будутъ дышать болѣе чистымъ воздухомъ, въ жилахъ которыхъ будетъ течь болѣе здоровая и честная кровь,—но ихъ не видно, они въ дали, которую мы не увидимъ!

Милый юноша, мы зачакнемъ въ сѣренькой, въ скверненькой жизни, мы не увидимъ подъемовъ, мы не полюбуемся величіемъ человѣка, мы дѣти безлюбовнаго вѣка—и будущія поколѣнія насъ не помянутъ добромъ: кромѣ своей дикой тоски и безвѣрія, кромѣ своихъ паденій и раздвоенности,—кромѣ своего позора и безславія намъ имъ нечего завѣщать!

Начинало темнѣть, когда я добирался до дому. Я не старался думать, какъ вывернуться изъ

безвыходнаго положенія: когда такъ чувствуется общая гибель — вкусъ къ жизни утрачивается.

Только слѣзаю съ конки—на встрѣчу Полины Семеновна.

— Однако, хватили! Гдѣ это вы?

Очевидно, я очень не твердо держался на ногахъ.

— Хватилъ. Хватилъ,—отвѣтилъ я съ улыбкой.

Она взглянула мнѣ въ лицо и сразу перемѣнила тонъ:

— Стыдно. Я обѣдаю въ три часа. Слѣдовало бы васъ хорошенько пробрать, да некогда: спѣшу.

Я смотрѣлъ ей вслѣдъ и думалъ:

— Стоитъ жить.

Пришелъ домой. Встрѣтила Катя.

— Думала не дождусь. Хотѣла уходить. Не ладишь съ хозяйкой то? а?

Я понялъ.

— Да, взбѣленилась.

— Вотъ что. Есть у меня вещишки. Ненужныя совсѣмъ. Въ ломбардъ ихъ—и помирить тебя съ хозяйкой... Идетъ?

— Дай подумать.

— Нечего думать. До свиданья, сэръ. Ждите меня завтра, какъ снѣгъ на голову!

Она выскальзываетъ изъ комнаты въ корридоръ—я смотрю ей вслѣдъ.

— Стоитъ жить.



Исчезаетъ. Возвращаюсь и замѣчаю на столѣ кулекъ: хлѣбъ, колбаса, яйца.

— И объ этомъ не забыла!

Я подкрѣпляюсь, ложусь и сплю, какъ убитый.

Въ девять утра разбудила хозяйка — третій сюрпризъ: переводъ на 20 рублей.

Я жадно-жадно смотрю на безконечно дорогія строки; вся она—неугомонный порывъ, вѣчное кипѣніе, напряженно-трепещущій комокъ нервъ—и откуда этотъ поразительный по твердости не женскій почеркъ?

Однажды уже эта дѣвушка въ періодъ страшнаго душевнаго перелома внушила мнѣ, что отрицаніе жизни—бесиліе, что побѣда человѣка не въ самоуничтоженіи, а въ самоутвержденіи; она подняла меня разъ,—я падаю—она поднимаетъ опять.

Я достаю пачку ея писемъ, перечитываю десятки разъ прочитанное—она моя безповоротно, отдалась мнѣ въ этихъ письмахъ,—но она страшное, грозно-великое счастье. Она ничего отъ меня, кромѣ меня не требуетъ. Стоитъ мнѣ написать одно слово: «Пріѣзжай»—она съ мужествомъ юности пріѣдетъ на нищету, на униженія—не потому, что не знаетъ нищеты и униженія, а потому, что вѣрить: «Мы все преодолѣмъ. Мы выплывемъ»!

Я опять берусь за переводъ.

«Послѣ частыхъ и восторженныхъ писемъ—ты началъ отдѣливаться открыт-

ками, а потомъ и совсѣмъ молчишь. Знаю тебя: значитъ, у тебя неблагополучно! Отъ кого иного, но замыкаться отъ меня—здорово за это выдеру за уши. Эти деньги мнѣ совсѣмъ не нужны. Имѣю много хорошихъ уроковъ. Глубоко оскорбишь меня, если эти деньги вернешь».

Эти деньги ей «совсѣмъ не нужны»! Знаю я эти хорошіе уроки: грошевые.

Да, надо жить! Надо преодолѣть, или погибнуть такъ, когда не оскорбляется мужество...

Я долго смотрю въ окно: «Эхъ, взглянуть бы теперь на всю ширь жизни и помечтать, какъ бы величаво размахнулись *настоящіе люди* на эту гнусенькую дѣйствительность»!

Но мѣшаетъ брандмауеръ, на который я, впрочемъ, не сержусь.

— Милый брандмауеръ, ты можешь быть пока спокоенъ за себя: меня отъ аппетита на тебя избавили!

Вновь я пошелъ «на штурмъ». Для того, кто не отвлеченно, а на себѣ почувствовалъ черствость нашего времени—это не будетъ звучать странно.

На этотъ разъ мнѣ посчастливилось. Отправился я къ предсѣдателю литературнаго фонда П. И. Вейнбергу. Онъ меня поразилъ. Явился



я къ нему съ просьбой: не устройте-ли онъ меня на какое нибудь маленькое дѣло.

Онъ выслушалъ и развелъ руками:

— Трудно. Буду имѣть въ виду—и несомненно, что нибудь въ этомъ отношеніи сдѣлаю, но сразу трудно.

Я поблагодарилъ и хотѣлъ было уходить.

— Куда же вы бѣжите? Вотъ она молодость-то! Двигайтесь за мной.

Онъ провелъ меня въ свой кабинетъ, усадилъ, и пристально посмотрѣлъ на меня. А я жадно смотрѣлъ на него: какъ рѣдко можно встрѣтить въ наше время такіе глаза не только у пожилыхъ людей, но и у молодежи!

Но тутъ не молодежь, тутъ сѣдой старикъ, въ глазахъ котораго свѣтится огромный опытъ, тотъ опытъ который видитъ, какъ велика бездна мукъ на землѣ, тотъ опытъ, который многихъ расхолаживаетъ къ несчастью другихъ, заставляетъ ихъ черствѣть, опускать руки, ибо имъ кажется, что бездна мукъ неустраима, что помогая одному, они въ сущности ничего не измѣняютъ, \*) — передо мной былъ чудный старикъ: наивная, мало прозрѣвающая жизнь, экзальтація юности у этого старика давно отпала, а золото

\*) Я говорю о категоріи людей нашего времени—людей „великихъ дѣлъ“ людей брезгающихъ малыми дѣлами, людей—не уясняющихъ себѣ или не желающихъ уяснить, что великое въ маломъ, а малое въ великомъ, а поэтому творящихъ только разложеніе.

юности сохранено и блещитъ такъ, какъ дай Богъ каждому изъ насъ!

Живыми, пламенно-отзывчивыми глазами онъ смотрѣлъ на меня и, съ улыбкой спрашивалъ:

— Голодаете?

— Бываетъ.

— Вижу. Здоровье скверное?

— Этимъ тоже не могу похвалиться.

— Что у васъ?

— Хроническій ревматизмъ.

— Плохо. Мучительная, коварная болѣзнь. «Кругомъ шестнадцать» у васъ, а бѣжите? Такъ не слѣдуетъ.

Я сказалъ:

— Время такое: людей боишься. Вездѣ только бьютъ и озлобляютъ. Если вамъ рассказать, чѣмъ угощаютъ въ редакціяхъ...

— Да, да, знаю. Наше время—плохое время. Вы столько этой горечи не знаете, сколько я знаю. На этомъ стою. Не легкій постъ! Но вотъ что: вы гдѣ печатались?

— Нѣтъ.

— Плохо. Хотѣлось бы вамъ помочь, но если вы ни разу на печатались—помочь вамъ трудно.

Подумалъ.

— Въ «Живописномъ Обзорѣніи» у П. вы не бывали?

— Нѣтъ.

— Сходите къ нему. Не говорите, что я на-



правиль. Онъ... *помяче нынѣшнихъ...* \*) И если онъ возьметъ у васъ ваше произведение, хоть маленькое,—попросите у редакціи удостовѣреніе въ томъ, что такая-то ваша вещь принята для напечатанія, и, являйтесь съ этимъ удостовѣреніемъ ко мнѣ. Для полученія пособій и ссудъ изъ фонда нуженъ цензъ — у васъ его нѣтъ. Приходится изворачиваться: на основаніи удостовѣренія я могу устроить вамъ пособіе рублей въ 75. Ну съ Богомъ!

Отъ Вейнберга я пошелъ въ «Живописное Обозрѣніе». П. встрѣтилъ меня взглядомъ изъ подлѣбья, лицо его мнѣ показалось тоже довольно суровымъ. Подаль я ему два маленькихъ разсказа—онъ мелькомъ взглянулъ на нихъ и заявилъ:

— Зайдите недѣльки черезъ двѣ.

Не забывая словъ Вейнберга, что П. «помяче нынѣшнихъ» — я дерзнулъ попросить:

— Нельзя-ли поскорѣе?

Вновь взглядъ изъ подлѣбья—и мягко высказанное согласіе:

— Хорошо. Зайдите завтра.

Явился я къ П. на другой день. Тотъ же взглядъ изъ подлѣбья, хмурое лицо—но человѣкъ красится не взглядами и лицомъ. Коротко мнѣ заявилъ:

— Вотъ этотъ разсказъ новъ, оригиналенъ—я его возьму; недѣльки черезъ двѣ его напеча-

\*) На словахъ курсивомъ Вейнбергъ сдѣлалъ удареніе.

таемъ. Если у васъ есть еще матеріаль—принесите.

О приѣмѣ разсказа я не смѣлъ мечтать и растерялся отъ радости до того, что не могъ ничего сказать.

А онъ помолчалъ и еще:

— Я распорядился, чтобы вамъ дали небольшой авансъ. Рублей 15 будетъ довольно?

Я молча пожалъ ему руку.

— Идите къ кассѣ и получите.

Иду къ кассѣ. Кассирша порылась въ ящикѣ стола, потомъ встала и пошла въ кабинетъ. Я слышалъ, какъ она тихо сказала:

— И. Н. въ кассѣ денегъ почти нѣтъ. Если выдадимъ этотъ авансъ—выдадимъ послѣднія деньги.

Тихо отвѣтилъ П.:

— Не «если», а обязательно надо выдать. Этому начинающему, вѣроятно, придется очень туго. Выдайте ему.

Я получилъ авансъ и, выйдя изъ редакціи, побрелъ, куда ноги ведутъ. Неожиданная удача волновала не менѣе сильныхъ огорченій. Остановивался передъ кіосками и упивался мыслью, что въ скоромъ времени эти кіоски будутъ торговать нумеромъ «Живописнаго Обозрѣнія» съ моимъ разсказомъ. Потомъ припомнилъ «объ удостовѣреніи» и рѣшилъ, что за нимъ побываю завтра.

Но побывать у Потапенко и Вейнберга—мнѣ



больше не пришлось. \*) На другой день я прочиталъ въ газетѣ «интервью—съ Горькимъ»—и помчался къ нему.

Жилъ онъ въ это время въ Финляндіи—въ Куоккала.

Доѣзжаю до этой станціи и спрашиваю чухонца-извозчика:

— Знаешь, гдѣ Максимъ Горькій живетъ?

— Горки... Горки...—повторяетъ чухонецъ и, качаясь съ упрекомъ головой: какъ онъ можетъ не знать, гдѣ живетъ «Горки»?—объ этомъ, молъ, даже глупо спрашивать!

Я сажусь въ его одномѣстный тарантасъ и ѣду.

Вотъ и дача Горькаго. Изъ всѣхъ дачъ, что встрѣтились на пути—самая лучшая.

Съ замирающимъ сердцемъ я расплываюсь съ извозчикомъ и иду къ дачѣ. Изъ за угла дачи вывертывается прислуга, знакомъ прошу ее остановиться, потомъ подхожу къ ней и прошу доложить.

Она уходитъ и, возвращаясь, проситъ обож-

\*) Этихъ писателей я больше не видѣлъ. Видѣлъ много иныхъ—изъ тѣхъ, которые дали мнѣ понять, что такіе, какъ Вейнбергъ и Потапенко—это уже послѣдніе изъ могиканъ. Разказа своего мнѣ не пришлось читать въ «Живописномъ Обзорѣніи», ибо оно пріостановилось за недостаткомъ средствъ и, все таки человѣкъ, при видѣ нуждающагося не могъ не отдать приказанія выдать изъ кассы послѣднія деньги! Это уже—послѣдніе изъ могиканъ!

дать. Я сажусь подъ тѣнь деревьевъ на скамью. Тишина, сухой воздухъ, вѣковые деревья, за стволами которыхъ не видно границъ этой дачи—все здѣсь располагало къ глубокому раздумью.

— Да, при такой обстановкѣ хорошо творить,—подумалъ я и почувствовалъ невыносимую боль оттого, что, а я вотъ скитаюсь, дрожу за потерю угла, гдѣ за стѣнами не считаются съ тѣмъ, что тебѣ нужна тишина, гдѣ передъ единственнымъ окномъ торчитъ брандмауеръ.

Замирание сердца у меня исчезло. Холодно и спокойно я ждалъ человѣка, котораго такъ долго мнѣ не удавалось уловить.

Потомъ впалъ въ то тяжкое раздумье, когда высота любой трагедіи, даже и личной, не ужасаетъ, когда чувствуешь только одно, что ты страшно усталъ, что тебѣ нуженъ отдыхъ.

И жадно я дышалъ этимъ сухимъ воздухомъ, жадно смотрѣлъ на вѣковые деревья, жадно вслушивался въ тишину: еще можетъ быть, пять или десять минутъ и я уйду изъ этого чуднаго уголка, что бы его никогда не увидѣть.

Въ забытѣ отдыха, боли, тоски впалъ я—и не замѣтилъ, какъ подошелъ ко мнѣ Горькій.

Я очнулся отъ его грубаго баса:

— Что угодно?

Поднимаю голову—и растерялся. Здоровый дѣтина въ бѣлой фуражкѣ, въ голубой рубашкѣ, въ сапогахъ, съ полнымъ лицомъ, подернутымъ розовымъ загаромъ: смотрю на это лицо—такое



далекое отъ того, какимъ оно изображалось на открыткахъ—безъ морщинъ, нѣтъ на немъ той осунутости, того глубокомысленнаго, мучительнаго въ своей напряженности, выраженія,—смотрю на это полное, здоровое лицо и думаю: «А въ газетахъ писали, что здоровье его плохое. Такъ отлично выглядеть».

Припоминаю одного столяра: если поставить ихъ рядомъ—долго обоимъ нужно знать, хорошенько взглянуть, чтобы не смѣшать.

Я растерялся—и, хотя чувствовалъ, что передо мной подлинный Горькій, что вопросъ мой нелѣпъ, и все таки спросилъ:

— Вы, Алексѣй Максимовичъ?

— Я. Что угодно?

Вынимаю изъ кармана свои рукописи и заявляю:

— Приѣхалъ къ вамъ съ тѣмъ, чтобы искать у васъ поддержки

Онъ знакомъ руки повелъ меня за собой. Усѣлись мы на террасѣ. Посмотрѣлъ Горькій на мои писанія—мелькомъ въ начало, мелькомъ въ конецъ—и медленно пробасилъ:

— Писать вы можете.

Я смотрѣлъ на него: вотъ человѣкъ, въ котораго я питалъ такую большую вѣру, человѣкъ—моя первая и послѣдняя надежда.

Онъ помолчалъ, а потомъ:

— Разскажите мнѣ о себѣ подробно, какъ жили, почему надумали заняться писательствомъ?

Мнѣ этотъ вопросъ не понравился,—онъ звучалъ грубо, тономъ допроса, жесткимъ сознаниемъ, что съ загнаннаго жизнью можно требовать и такой исповѣди, которая ему тяжела и непріятна: врешь, хочешь-не хочешь, а скажешь,—а я послушаю!

Напомнилъ мнѣ этотъ вопросъ и батюшку: тоже требовалъ подробностей—а что сдѣлалъ?

Я началъ говорить о себѣ *подробно*—холодно, спокойно, думая въ это же время: «Ну, что же, лѣзь и ты, лѣзь въ самую глубину души, а что дашь взаменъ—посмотримъ!»

Потомъ вспыхнулъ было горячій порывъ оборвать эту вынужденную исповѣдь,—сказать Горькому о томъ, что когда то онъ для меня былъ благоухающимъ цвѣткомъ души, нетлѣннымъ цвѣткомъ, но время, но мытарства, пережитые, пока, я его уловилъ, отравили этотъ цвѣтокъ, заставили его поблѣкнуть; сказать, что когда-то я шелъ къ нему, какъ къ духовнику, облеченному въ ризу писателя, когда несъ свою исповѣдь самъ—сказать и попросить: верните мнѣ, если можно, то, что было, не дайте горечи сознанию моему, что всѣ наши прекрасныя надежды—только самообманы, злобный хохотъ настоящего надъ былыми заблужденіями!

Вспыхнулъ этотъ порывъ и погасъ: большими, тяжелыми, буквально звѣринными глазами такого крупнаго звѣря, который чувствуетъ свою мощь и презираетъ находящагося передъ нимъ малень-



каго звѣрка за его безсиліе—такими глазами смотрѣлъ на меня Горькій.

Но, вѣдь, безъ этого человѣка—гибель, онъ—послѣдняя надежда! Я продолжалъ *подробности* о себѣ,—Горькій слушалъ, а затѣмъ—выкинулъ нѣчто еще почище звѣриныхъ глазъ:

— Не могу вамъ ничѣмъ помочь.

Я оборвалъ исповѣдь о себѣ,—онъ попросилъ:

— Нѣтъ, вы еще о себѣ поразскажите.

Я рассказываю *еще*—съ мукой въ душѣ, со взрывомъ негодованія, но искренно, одну только правду, не сгущая, и не прикрашивая ея.

Онъ вновь повторилъ:

— Не могу вамъ ничѣмъ помочь.

Еще разъ я имѣлъ силы съѣсть молча такое блюдо, а когда онъ мнѣ преподнесъ его въ третій разъ—я оборвалъ рѣзко *подробности*, рѣзко всталъ и рѣзко бросилъ:

— Прощайте!

Всталъ и онъ:

— Пойдите. Развѣ уже ничего еще не скажете?

— Къ чему говорить, когда вы заявляете, что ничѣмъ помочь не можете? У васъ «Знаніе», вы имѣете въ литературѣ такой вѣсъ—и не вѣрю я, что вы безсильны помочь. Прощайте!

— Пойдите. Къ какому времени вамъ просмотрѣть ваши вещи?

Я помолчалъ: былъ пораженъ переменой лица

Горькаго,—онъ смотрѣлъ на меня съ тихой улыбкой участія. \*)

Потомъ отвѣтилъ:

— А это сообразуйтесь со своимъ временемъ.

— Хорошо. Я вамъ дамъ отвѣтъ черезъ недѣлю.

Я повторилъ ему то, что говорилъ Петрову:

— Если найдете у меня дарованіе—поддержите меня до конца; не найдете—мнѣ ничего отъ васъ не надо.

Онъ помолчалъ, пристально вглядываясь въ меня, потомъ взялъ мою руку, и, разсматривая обезображенные суставы, говорилъ:

— Однако у васъ и ревматизмъ. Васъ надо лечить.

Я ничего не сказалъ. Онъ спросилъ:

— Денегъ вамъ надо?

— Если можно—рублей десять дайте.

\*) Позже, когда этого писателя имѣлъ возможность наблюдать лично, когда вчитался въ его произведенія—я понялъ, что «звѣринные глаза» и заявленія о невозможности помочь—это своеобразное испытаніе «на личность» въ духѣ Горькаго. Тотъ человѣкъ, который задушенъ жизнью до того, когда утрачивается гордость, когда въ попыткахъ ухватиться за жизнь переносятъ грубыя униженія, унижаются сами—такой человѣкъ, хотя-бы онъ и былъ достоинъ поддержки, могъ бы еще подняться, участія въ Горькомъ не встрѣтилъ бы. Горькій слишкомъ субъективно смотритъ на людей. А отсюда очень часто вытекаютъ несправедливости и жестокость. Призма только моего Я—слишкомъ узкая призма.



Ушелъ и вернулся, протягивая мнѣ вдвое больше.

Я подалъ ему руку—одновременно прощаясь съ нимъ и благодаря его. Осторожно, мягко держалъ онъ мою руку въ своей и тихо вымолвилъ:

— Вы простите, что я не жму вамъ руки. Боюсь причинить вамъ боль.

Это было сказано такъ—до глубины души этотъ человѣкъ сумѣлъ меня взбѣсить и до глубины души сумѣлъ тронуть.

У меня кружилась голова. Я боялся расплакаться и поспѣшилъ отъ него уйти.

~~~~~  
Прошла недѣля. Я получилъ отъ Горькаго свои рассказы, и на поляхъ одного изъ нихъ было написано: «Изъ вашихъ рассказовъ я вынесъ впечатлѣніе, что вы будете писать, какъ пишутъ многіе, но ради этого поддерживать васъ не стоитъ».

Я учелъ всю жестокость этихъ немногихъ словъ, но они не возмутили меня: жить только для того, чтобы имѣть возможность поддерживать свое прозябаніе—этого я не хотѣлъ. Хотѣлось оправдать свое существованіе, чѣмъ нибудь значительнымъ, но если значительное по словамъ авторитета у меня не оказалась данныхъ,—жизнь утрачивала для меня смыслъ.

Но, къ концу недѣли я послалъ Горькому

рассказъ «Въ заводѣ». Было предчувствіе, что этотъ рассказъ болѣе содержателенъ, чѣмъ тѣ, которые я ему далъ лично и хотѣлось выждать отвѣта по поводу этого рассказа: выждать и, если и на этотъ разъ мнѣніе будетъ отрицательное, тогда...

Отвѣтъ получился послѣ «приписки на поляхъ» черезъ два дня—уже заказнымъ письмомъ.

Какъ не велика была моя рѣшимость ликвидировать счеты съ жизнью, но вѣдь, жизнь, какъ говорятъ, «не фунтъ изюма»,—ко дню полученія этого письма я разнервничался до того: болѣли зубы, ходилъ къ двумъ зубнымъ врачамъ и ни одинъ не могъ помочь. Два попорченныхъ зуба вырвали, а остальные здоровые—но болятъ такъ, утихаетъ одинъ, поднимается другой.

Бѣсился, требовалъ рвать и ихъ: «Чортъ съ ними, умирать и безъ зубовъ можно»,—ни одинъ врачъ здоровыхъ зубовъ рвать не соглашался.

Но письмо... вотъ оно:

«Мнѣ очень пріятно сказать вамъ, что послѣдній вашъ рассказъ на много лучше,—проще, яснѣе,—чѣмъ первые, хотя и въ немъ есть преувеличенія, ходульность, фальшь. Люди—пестры, нѣтъ—только черныхъ сплошь и нѣтъ сплошь бѣлыхъ. Хорошее и дурное спутано въ нихъ—это надо знать и помнить. А если вы непременно хотите написать идеаль-

но хорошаго человѣка,—его надо такъ хорошо выдумать, чтобы въ немъ читатель чувствовалъ и плоть, и кровь, и вѣрилъ бы вамъ—есть такой человѣкъ! Но чтобы хорошо выдумывать—нужно много знать, видѣть, чувствовать, нужно умѣть изъ маленькихъ кусочковъ реального, создать большое идеальное, такъ, чтобы никто не замѣтилъ, что и гдѣ вами спаяно, склепано и склеено.

И нужно вѣрить въ людей, въ то, что они растутъ, становятся все лучше.

Храните мои письма, современемъ, когда вы вырастите,—во что я вѣрю,—вы, можетъ быть, хорошо посмѣетесь надъ ними.

А теперь вотъ что, прилагаемое письмо вы отнесете по адресу, постарайтесь увидѣть доктора лично, добейтесь отъ него опредѣленнаго отвѣта,—попросите его отвѣтить мнѣ на письмо, это будетъ лучше—и приѣзжайте ко мнѣ.

Вамъ необходимо вылечиться и это нужно устроить.

Пока до свиданія.

А. Пѣшковъ».

Это письмо... пока я прочиталъ его—зубной боли у меня, какъ не бывало.

Въ тотъ же день, когда было получено письмо, я побывалъ у врача, а на другой день поѣхалъ къ Горькому.

Странное творилось со мной: я хотѣлъ убѣдить себя, что мнѣ нужно радоваться и испытывать чувство той неподавимой тоски, когда кажется, что жизнь—это только тяжесть и пустота.

Моментами я ловилъ себя на тихомъ, благоговѣйномъ чувствѣ: я вѣрилъ въ Горькаго, какъ въ ту большую мудрость, которая раскроетъ мнѣ меня, дастъ мнѣ ясность взгляда на всѣ мои смутныя представленія и запросы.

За свою судьбу я былъ уже спокоенъ настолько, что думать о себѣ, какъ бы и послѣ Горькаго не очутится въ роли «человѣка-мичика»—объ этомъ не думалъ: думать объ этомъ казалось не только смѣшнымъ, но и преступнымъ.

Горькій не продуктъ разложенія, не плодъ вымирающихъ духовно классовъ—этотъ человѣкъ на своей шкурѣ испыталъ все то, что ему дало толчокъ поднять знамя бунта за всѣхъ раздавленныхъ зломъ социальной неправды. Онъ видѣлъ ту чудовищную пропасть, которая раздѣляетъ бѣдняка и богача, онъ знаетъ ядовитую остроту тѣхъ мучительныхъ положеній, когда приходится убѣждать, что для богатаго только тотъ человѣкъ, кто богатъ, а остальные—они достойны только презрѣнія, они не люди, а нѣчто такое, что необходимо терпѣть только потому, что безъ нихъ ни обойдешься.

Вспыхивала страстная ненависть противъ того, что вѣка прошли, а положеніе раздавленныхъ въ сущности не улучшилось: они все такъ же порабощены, надъ ними тяготѣетъ все тотъ же «древній законъ Ману».

Денежный мѣшокъ одухотворяетъ только денежные мѣшочки, а остальныхъ—развращенная и пресыщенная всѣми благами наглая тупость буржуа сверху внизъ смотритъ даже на лицо съ печатью генія!

Развертывалась жизнь, то, что я съ ужасомъ и болью впиталъ въ себя въ бытность рабочимъ—это огромное, кошмарное полотно,—то, что пережилося, когда пасть капитала поглотила здоровье, когда «калѣка никому не нуженъ», то, наконецъ, что встрѣтить на свои попытки постучаться въ двери литературы. Всюду жизнь опухшая, поруганная, ничего иного въ чело-вѣкѣ не вызывающая, какъ злобу и ненависть, месть и разрушеніе, а въ лучшихъ сердцемъ—огненный гнѣвъ души, ея неумолкаемо-вѣчный ропотъ, ея мучительно-безпокойные поиски обрѣсти что то, почувствовать себя на своемъ мѣстѣ: на мѣстѣ, гдѣ чудится какая-то великая радость свѣтлаго отдыха, гдѣ не омрачится душа скорбью за обездоленныхъ отъ рожденія и отверженныхъ до могилы.

Вспыхивала страстная ненависть и погасала, ибо надвигалось нѣчто, появленіе чего въ пер-

вые моменты всегда сопровождается мучительно-недоумѣвающимъ вопросомъ:

— Да отчего? Боже мой, вѣдь, это нестерпимо.

А грудь уже то давить, то распираетъ и сжимаетъ то непередаваемое чувство тоски и безнадежности, когда надо кричать дикимъ бессмысленнымъ крикомъ или... тихо-тихо плакать.

Но не закричишь. Сдержишься. Кто пойметъ такой крикъ? Изъ нѣсколькихъ тысячъ одинъ. И не заплачешь: ядъ этой тоски и безнадежности атрофируетъ слезы наружно и вгоняетъ ихъ внутрь: перемѣшанные съ живой кровью и напряженнымъ трепетомъ слишкомъ много битыхъ и слишкомъ приподнятыхъ нервъ—эти внутреннія слезы, какъ капли расплавленного металла, падаютъ на ледяное отчаяніе, не принося облегченія, рождая боль, боль и боль.

Потомъ опомнишься, поймешь причину такого состоянія: это ты—и всѣ, это всѣ—и ты.

Тебѣ переродиться—на это не пойдешь. Жизнь принята, какъ вдохновенная молитва, какъ сказка, какъ чудо—отъ этого не откажешься. Всѣ для тебя тоже не переродятся: прочно стоятъ на своихъ китахъ.

Вотъ эта міровая ноша не по силамъ! Ибо не создашь себѣ въ эти минуты ложныхъ иллюзий, не завуалишь ими чудовищнаго лица жизни: острое жало ледяного отчаянія съ холоднымъ безстрастіемъ вопьется въ ту тайную, до демо-

низма хитро сплетенную сложность, откуда вытекает «судьба», вопьется и раскроетъ ту мистическую «книгу жизни», гдѣ будто бы всякому заранѣе «всѣ predetermined».

Раскроешь эту книгу—и ранняя сѣдина волосъ, тусклѣющій блескъ глазъ будутъ спутниками твоихъ думъ.

Не обманешь себя, отбросишь завѣсу лживыхъ явленій и увидишь за ней притаившагося обще-человѣческаго мірового гада: онъ прячется за хаосъ отдѣльных фактовъ, онъ вездѣ и всюду подъ гримомъ, подъ маской, дѣянія его—закономѣрны, фатальны: вотъ вѣнецъ, которымъ пока украшаетъ себя человѣчество!

Не обманешь себя—и утѣшаешь себя слабымъ призрачнымъ утѣшеніемъ: «Милые люди. Люди отъ вѣчности. Поборники правды и добра, просто прекрасные люди съ чистымъ сердцемъ, съ душою дѣтей—васъ такъ мало, мало, вы затерты, затеряны, вы золотыя буквы въ черной, смердящей «книгѣ жизни», вы дальній свѣтъ, тепло, грѣющее и освѣщающее живую душу иногда не видимо, издали. Милые люди, не падайте духомъ, ибо вы призваны быть—Солнцемъ Земли. Велика тьма жизни, но если въ темную пропасть заглянетъ хоть единый лучъ солнца—развѣ онъ не поселитъ въ душѣ попавшаго туда надежды на спасеніе?»

Но трудно жить поклоненіемъ «милымъ людямъ,» которыхъ мало, которыхъ въ эти

тяжелыя минуты не видишь, а созерцаешь тѣхъ, чѣмъ заполненъ весь міръ, тѣхъ, кто по своей злости и тупости мѣшаетъ жить другимъ, тѣхъ отъ кого внѣшне стынешь, мертвѣешь, а внутри задыхаешься, мечешься—изступленіемъ горькаго смѣха крикнуть бы на весь міръ:

— Творите «Книгу жизни». Тѣшите себя. Побольше зла, безсердечныхъ дѣяній. Ставьте выше всего свое «Я», а остальное—а объ остальномъ не размышляйте. Помните одно, чему учили и учутъ васъ поэты, что «прожитый день безслѣдно канетъ въ вѣчность» и, не слушайте, когда вамъ говорятъ, что каждый прожитый день не безслѣдно отражается въ жизни. Все воздавайте своему «Я», воздавайте вольно и невольно и не сторайте отъ желаній созидать благо. Ибо почему-то, чѣмъ ни болѣе вы его созидаете, тѣмъ больше растетъ то, что названо «мостить адъ добрыми намѣреніями». Плодите ужасъ дикой, несчастной жизни—и ничего не бойтесь! Міръ крѣпко стоитъ: наиболѣе чистыми жертвами человѣчество искупаетъ свои преступления. Міръ не скоро дрогнетъ, ибо есть въ немъ законъ тайной, невидимой расплаты: за вину совершенную однимъ эта расплата падаетъ иногда на невинныхъ «до седьмого поколѣнія».

~~~~~  
Въ такомъ состояніи я пріѣхалъ къ Горькому. И даже больше: на этотъ разъ надвинувшіеся на меня «нѣчто» усугублялось еще чѣмъ-то та-



кимъ, въ чемъ я не могъ отдать себѣ отчета.

Я зналъ, что это недаромъ, что это предчувствіе чего-то зловѣщаго—но чего? Этого непредугадаешь, когда оно гдѣ-то впереди, когда не видишь конца той нити, которая затянется на тебѣ роковымъ узломъ.

Такія предчувствія раскрываетъ только жизнь. Въ дѣтствѣ, лѣтъ отъ восьми до одиннадцати, я въ темныя лѣтнія ночи, когда весь городишко уже погруженъ въ сонъ, уходилъ въ садъ при домѣ и думалъ: «Вотъ я вырасту. Пойду въ жизнь. Какъ буду жить? Что такое жизнь? Буду-ли въ ней тѣмъ, чѣмъ хочу быть?»

Юный мозгъ не давалъ отвѣтовъ на вопросы, кромѣ послѣдняго. Я страстно хотѣлъ быть врачомъ и всѣмъ домашнимъ пылко заявлялъ: буду учиться и буду докторомъ!

«Докторъ»—это для меня былъ только звукъ, не имѣвшій воплощенія, ибо въ этой порѣ я не видалъ въ лицо ни одного доктора, но звукъ настолько почетный и соблазнительный—казалось, что выше этого званія въ мірѣ ничего нѣтъ. Иготовился я къ этому почетному званію энергично: теоретически проходилъ въ начальномъ училищѣ только еще азы, а практически—неутомимо рѣзалъ лягушекъ, дохлыхъ кошекъ и собакъ. И вотъ, вопросъ о томъ, чѣмъ я буду, былъ рѣшонъ безповоротно, а остальные—и жутью и неясными заманчивыми соблазнами вѣяло на меня изъ темноты.

Наростала внутри необходимость выражать свои переживанія.

Много я въ эту пору уже зазубрилъ стиховъ, но для выраженія у меня было только одно—Кольцова.

Запѣваю робко, тихо:

«Надо мною буря выла.  
Громъ по небу грохоталъ.  
Слабый умъ судьба страшила  
Холодъ въ сердце проникалъ.»

Смыслъ этихъ четырехъ строкъ для меня темень. Какая «буря», какой «громъ», что за «холодъ»—все это для моего дѣтскаго ума не только непостижимые символы, а нѣчто большее.

Мнѣ кажется, что я творю страшный вызовъ, я бросаю заклятіе, и... вотъ, вотъ разразится внезапно буря, грянетъ громъ, а молнія за мою дерзость поразитъ меня на смерть!

Жду въ трепетномъ ужасѣ—но ничего нѣтъ.

Темное, безстрастное небо—великой тишиной и великимъ покоемъ вѣтъ отсюда и будитъ во мнѣ экстазъ молитвы за это темное, безмѣрное небо, за обаяніе темной ночи.

Ничего нѣтъ. Но предчувствіе чего-то большого и грозного, смотрящаго на меня изъ темнаго безмолвія спящаго города не покидаетъ меня: чувствую я своимъ маленькимъ сердцемъ, что отъ этого тайнаго врага мнѣ не уйти, съ нимъ я неизбежно долженъ встрѣтиться и имѣть смертельно-напряженную борьбу.



И гордо, вдохновенно, во всю силу легкихъ бросая вызовъ этому врагу—я продолжаю:

Но не палъ я отъ страданья:  
Гордо выдержалъ ударъ  
Сохранилъ въ душѣ желанья.  
Въ тѣлѣ силу, въ сердцѣ жаръ.

И въ горѣ и въ радости я часто вспоминалъ это дѣтское предвидѣніе.

Вспомнилъ его и теперь. Долго стоялъ передъ воротами дачи Горькаго—и стараясь хоть сколько нибудь успокоить себя, думалъ:

— Все сбылось. Много и гордо различныхъ ударовъ и бурь пережилъ, желанья въ душѣ сохранены, сердце знакомо съ холодомъ тоски и безнадежности, но есть въ немъ еще и жаръ,—иногда, пожалуй, слишкомъ пылкій, неугомонный,—одно только не сохранено: въ тѣлѣ сила! Проклятый недугъ. Источникъ моихъ бѣдствій, униженій, ради осуществленій, «желаній души», желѣзная пята для моей гордости, тупикъ, гдѣ гибнеть былая отвага. Не проживешь уже хватомъ, какъ бы высмотрѣть въ жизни чорта поважнѣе, да побольше и не задумываясь много схватить его прямо за рога! Куда ужъ тутъ: будь всегда и вездѣ на сторожѣ, какъ бы само не раздавили.

Долго стоялъ я такъ и, когда пошелъ—тяжести мнѣ не удалось съ себя скинуть.

— Вотъ оно прошлое—то, говорилъ я себѣ:—Забить, забить до того, что мучаешься невѣдомо

надъ тѣмъ. Вѣдь, глупо бояться «чего-то» Мытарства теперь кончились, надо бы духомъ подняться, а я создаю себѣ какіе-то ни на чемъ не основанные страхи. Если такъ жить—многого въ жизни не сдѣлаешь. Если такъ жить—лучше не жить.

Горькій вышелъ ко мнѣ, очевидно оторвавшись только что отъ работы: лицо его выражало раздумье.

— Здравствуйте. Ну, были у доктора?

Я сказалъ, что этотъ докторъ съ мѣсяцъ назадъ уѣхалъ въ старую Руссу.

— Вотъ что! Какъ же теперь быть-то?—и онъ медленно началъ ходить изъ угла въ уголъ по террасѣ.

Отъ спокойно-самоувѣренныхъ движеній и кончая способомъ выражаться—все въ этомъ человѣкѣ было полно тѣмъ значеніемъ, которое говоритъ, что этотъ человѣкъ знаетъ себѣ цѣну.

Потомъ онъ остановился предо мной:

— Какъ же теперь быть? Лечебный сезонъ идетъ къ концу, а полечиться вамъ въ этомъ же году необходимо.

Я подумалъ и съ чувствомъ, точно дѣло касалось совсѣмъ не меня, высказалъ:

— А если мнѣ прямо ѣхать въ Руссу? Горькій подхватилъ:

— Вѣрно! Такъ и сдѣлаемъ. Подождите меня. Сейчасъ я принесу все для этого нужное.



Онъ ушелъ. Съ минуту я вслушивался въ тишину, вглядывался въ застывшую отъ безвѣтрія зелень деревьевъ, и съ чувствомъ тихой, благодарной радости думалъ:

— Вотъ, уже и лечиться. Какъ все это просто, скоро. Такъ поступаетъ только настоящій человѣкъ; только тотъ, кто твердо уясняетъ себѣ, какъ необходимо воплощать слово въ дѣло; только тотъ, кто проникновенно смотритъ въ жизнь и видитъ, что ея страшный видъ это не рокъ свыше, это не неустранимое, а роковыя послѣдствія насилій и надругательствъ одного надъ другимъ, это *слежка*, такъ *въ добрыхъ минутахъ* брошенныя словечки, но невыполненныя въ дѣло, это позорный разладъ совѣсти съ жизнью, крайняя безотвѣтственность одного передъ другимъ, торжество виѣшняго человѣка надъ внутреннимъ.

А потомъ... потомъ дрогнула моя тихая, благодарная радость и исчезла. Опять я былъ во власти зловѣщаго предчувствія; оно ясно говорило мнѣ, что это ни раздѣрганныя нервы, ни мнительность, ни забитость—такимъ безсильнымъ, ничтожнымъ, раздавленнымъ я чувствовалъ себя передъ этимъ злымъ пречувствіемъ, гдѣ нечего и думать о борьбѣ: надо капитулировать!

Мысль моя въ эти моменты была въ полной паникѣ. Я жилъ, чувствовалъ, видѣлъ инстинктомъ: казалось, что съ шумомъ и свистомъ мчится на тебя какая то страшная тяжесть;

откуда налетитъ — спереди, сзади — этого не знаешь; но налетитъ и сразу не пришибетъ, не раздавитъ, нѣтъ, а будетъ истязать, дастъ чудовищно-длительную агонію.

И боязнъ передъ этой агоніей была такъ велика, что смерть казалась благомъ. \*)

Глазами смертельной тоски я впивался въ зелень деревьевъ, остро-напряженнымъ слухомъ жадно ловилъ тайную жизнь тишины — съ покорной скорбью, я слалъ всему этому прощальный привѣтъ и внутренній голосъ со всею силою отчаянія, но подавленного уже примиреніемъ, кричалъ мнѣ:

— Какъ все это ты любилъ. Какъ все это ты любилъ!

Какъ въ послѣднія предсмертныя минуты — вся жизнь выявилась со всѣми своими огромными мученіями и съ маленькими, ничтожными радостями, радостями минутъ, дня — не больше; большое счастье все грезилось впереди — и вотъ, когда кажется подходишь къ нему — все рушится. Любимыя мечты о писательствѣ, любовь той, которая перебивается на грошевыхъ урокахъ и убѣждаетъ, что ей деньги совсѣмъ не нужны, святая, вѣчная любовь — молитва величію и красотѣ мірозданія — все это надо оторвать отъ души и сердца, всему сказать послѣднѣе «Прости!»

\*) Это предчувствіе не обмануло меня. Мнѣ дали такую Голгофу, передъ которой смерть — благо.



Вошелъ Горькій.

Все во мнѣ вдругъ оборвалось; все такъ застыло, когда страннымъ кажется, что ты можешь говорить, двигаться: чудится, что ты уже переступилъ какую-то важную грань жизни — туда, въ ту-потустороннее.

Горькій былъ оживленъ, съ ласковой улыбкой на лицѣ. Вошелъ, положилъ передо мной на столъ деньги и письмо и, съ мягкимъ тепломъ въ голосѣ, забасилъ:

— Вотъ и готово. Вотъ вамъ деньги; пока маловато, больше не нашлось, но какъ только прибудете въ Руссу — телеграфируйте адресъ и я вышлю еще; вотъ вамъ письмо къ доктору. Лечитесь, а когда кончите, приѣзжайте ко мнѣ.

Я совершенно не отдавалъ себѣ отчета въ своихъ дѣйствіяхъ.

Холодными, безжизненными глазами я взглянулъ на Горькаго и, безъ малѣйшей мысли объ этомъ, у меня вырвалось:

— Алексѣй Максимовичъ, стоитъ-ли?

Онъ уставился на меня недоумѣвающимъ взглядомъ:

— О чемъ вы говорите?

Я высказалъ, что стоитъ-ли мнѣ лечиться, что не будетъ-ли это только тратой денегъ, что, можетъ быть, я такой никудашникъ, которому вовсе не слѣдуетъ лѣзть въ писательство.

Онъ спросилъ:

— А если не будете писать, что же тогда станете дѣлать?

Я чувствовалъ всю красоту этой минуты, когда съ полной рѣшимостью принимаешь смерть по одному только слову человѣка. Смѣло и холодно я встрѣтился съ взглядомъ Горькаго — острымъ, напряженнымъ, — и выдерживая этотъ взглядъ, хотѣлъ сказать: «Умирать.»

Это слово звенѣло во мнѣ, казалось, что оно вырвется въ повышенномъ тонѣ, но должно быть, рѣчь о смерти въ такихъ случаяхъ нѣчто такое, гдѣ можно только чувствовать, но не говорить. Но надо же, вѣдь, говорить, когда самъ заведъ объ этомъ рѣчь.

И съ величайшими усиліями — очень тихо и едва внятно, съ наплывомъ до этого невѣдомыхъ тончайше неуловимыхъ чувствъ, гдѣ и благоговѣйный восторгъ и благоговѣйная робость, какъ бы грубо не коснуться какого-то смутно-огромнаго величія и какой-то чудесной въ своемъ цѣломудріи ослѣпляющей бѣлизны, — тономъ, интонацію котораго я потомъ никакъ не могъ воспроизвести, я отвѣтилъ:

— Умирать.

Что-то съ меня спало — и уже въ упоръ смотря на Горькаго, я громче и смѣлѣе добавилъ:

— Если это для меня лучшее, — скажите мнѣ объ этомъ прямо.

Горькій опустилъ голову, помолчалъ, потомъ, тоже очень тихо, спросилъ:



— Почему вы объ этомъ заговорили?  
Почему?

Холодными, безжизненными глазами я смотрѣлъ на Горькаго и говорилъ. Говорилъ скучнымъ, монотоннымъ голосомъ о томъ, что пережилъ въ Нижнемъ, какъ и кто тамъ ко мнѣ отнесся, потомъ, какъ завязались мои сношенія съ «батюшкой», и чѣмъ кончились.

Говорилъ не затрудняясь, уже готовыми, выстраданными словами — и то, что такъ недавно вызывало и гнѣвъ, и боль, и горечь, — отдавало только привкусомъ больной, безрадостной печали. Слишкомъ ужъ *это въ эти минуты* было обиднымъ, земнымъ и, гдѣ не себя жаль, а тѣхъ надеждъ, которые приподнимали тебя и того челоуѣка немного въ высь — немного отъ земли къ небу!

Батюшку я строго не обвинялъ; я подчеркнул только то, что, можетъ быть, по малодушію онъ не могъ мнѣ прямо заявить объ отсутствіи у меня дарованія и, что бросая меня, онъ тоже, можетъ быть, былъ правъ, но долженъ былъ это сдѣлать не «втихомолку», а имѣть мужество заявить мнѣ объ этомъ въ лицо.

Потомъ сказалъ, что знаній, даже самыхъ необходимыхъ писателю, — у меня нуль, что чувствую, какъ много нужно учиться, работать надъ собой, а силъ мало: и болѣзнь, и нужда и люди подъ ѣли.

Я кончилъ. Горькій задумался.

Съ трепетомъ я ждалъ его рѣшенія. Тяжесть пережитаго и того, что придется пережить — въ эти минуты я остро видѣлъ всѣ шипы жизни, на которые неизбежно будетъ колотиться самый счастливый челоуѣкъ изъ тѣхъ, подъ которыми общепринято разумѣть «счастливыхъ людей», — давила меня, какъ никогда.

Хотѣлось отдыха, покоя смерти. Я чувствовалъ, что я — весь мольба, что я прошу пощады не на жизнь, а на смерть.

Знаю, что многимъ и многимъ это покажется дико, неестественно, ибо челоуѣкъ склоненъ просить всегда «пощады на жизнь» и склоненъ не щадить ближняго своего, знаю это и говорю такимъ многимъ:

— Господа! Есть на землѣ у иныхъ полная мѣра любви. Не та, не ваша, не себялюбивая любовь, вымаливающая пощады только себѣ и вгоняющая въ гробъ другихъ — есть любовь выше своей шкуры!

Даже и теперь, когда пишу эти строки, когда отъ тѣхъ моментовъ я отдѣленъ значительнымъ, все притупляющимъ и со всѣмъ примиряющимъ временемъ — даже и теперь я содрогаюсь отъ высоты своего чувства къ Горькому.

Мое «быть-ли мнѣ или не быть?» врученное добровольно челоуѣку — было ни болѣе ни меньше, какъ «Авва Отче! все возможно тебѣ: принести чашу сію мимо меня; а впрочемъ да будетъ воля Твоя».



Я ждалъ рѣшенія Горькаго.

Мысль моя ужасалась: «Что ты сдѣлалъ? Какое безуміе. Такъ долго этого человѣка искать, столько претерпѣть и, когда онъ найденъ, когда принимаетъ живое, подлинное участіе—ты поставилъ такой чудовищный вопросъ. Какое безуміе!»

Но мысль... Что такое мысль передъ областью чувствъ? Пигмей передъ титаномъ. Слѣпецъ передъ зрячимъ. Посохъ путника, ищущаго путей въ вѣчность.

Чувство мое грозило мнѣ какой то страшной тяжестью жизни и не слушаая мысли—я хотѣлъ смерти.

Но мнѣ вынесли иное.

Горькій, наконецъ, надумался; не поднимая головы, съ хмурымъ лицомъ, въ которомъ такъ мнѣ показалось—было порицаніе всѣмъ тѣмъ господамъ, съ которыми я сталкивался до него, онъ медленно сказалъ:

— Умирать-ли вамъ—этого я вамъ не скажу; объ этомъ вамъ не слѣдуетъ думать. «Батюшку» забудьте: онъ не авторитетъ.

Я почувствовалъ на себѣ крестъ. До рѣшенія Горькаго я былъ—весь мольба; послѣ—когда онъ мнѣ даровалъ жизнь—весь покорность.

Онъ помолчалъ и добавилъ.

— Я думаю, что черезъ годъ; черезъ два вы напишите хорошую вещь.

Опять пауза и взглядъ на меня.—И поясненіе:

— Знаете что такое «хорошая вещь?» Писатель въ три года или лѣтъ въ пять напишетъ много вещей, но если изъ этихъ многихъ создана только хотя бы одна хорошая вещь—это уже писатель изъ большихъ.

Безрадостно и молча я выслушалъ слова, прочавшія меня «въ сонмъ большихъ».

Покорно я взялъ деньги, письмо къ доктору и попросилъ Горькаго указать мнѣ, что я долженъ читать.

—Чехова читали?

Чехова я читалъ, но такъ давно, что выразилъ желаніе перечестъ и еще.

Горькій ушелъ и вернулся съ кучей книгъ: книгъ Чехова не нашлось, (на нихъ мнѣ дадена была записка въ к—во «Знаніе») были вручены мнѣ Антонъ Менгеръ, И. Бунинъ, и самъ Горькій, представленный двумя томами.

— Особенно внимательно читайте Чехова. Онъ изумительно писалъ! Не подражайте ему въ содержаніи, а вглядывайтесь въ него только, какъ въ художника слова; содержаніе-же у васъ должно быть свое: то, что вы на своей шкурѣ вынесли и то, что вы видѣли въ своей средѣ. Этому должны вѣрить. Внимательно прочтите такъ же и Менгера. Важная книга.

Молча, съ покорной тяжестью въ душѣ, я выслушалъ Горькаго.

Затѣмъ мы простились. Пожимая мнѣ руку, онъ сказалъ:



— Жду васъ къ себѣ поздравѣе, чѣмъ теперь. Пишите оттуда.

Не легче мнѣ было, когда я и поѣхалъ отъ Горькаго. Полной мѣрой я оцѣнилъ всю его трогательную заботливость обо мнѣ, и, что эта заботливость, какъ другіе продѣлывали, остановится на полдорогѣ—этого мысль не допускала.

Но тяжесть, совершенно безпричинная, тяжесть грядущаго креста не покидала меня.

— Что же, можетъ быть?—спрашивалъ я себя:—Чего боюсь теперь, когда нашелся такой человекъ? Здоровье подорвано—меня отправляютъ лечить. Знаній нѣтъ—дадутъ возможность учиться.

Отвѣта на мою боязнь не было. А тяжесть давила до отчаянія, до безъ исходности, давила до опасенія, что если я въ своихъ страхахъ не могу отдать себѣ отчета, значить у меня въ головѣ не ладно.

Явилась хитрая мысль испытать свою «мысль». Я захотѣлъ отдать себѣ отчетъ въ странности своего поведенія у Горькаго—въ томъ, что дѣйствовалъ какъ-то слѣпо.

Оказалось что мысль работаетъ еще надежно.

Она сказала мнѣ, что когда человекъ подавленъ предчувствіемъ и вообще всѣми тѣми сложными и смутными внутренними побужденіями и переживаніями,—она сказала мнѣ, что

тогда наша «гордая мысль» въ полной паникѣ отступаетъ на задній планъ и не даетъ намъ никакихъ указаній: тогда человекъ дѣйствуетъ инстинктивно.

Она сказала мнѣ, что инстинктъ живетъ отъ мысли не только самъ по себѣ, но и подчиняетъ себѣ мысль въ тѣхъ случаяхъ, когда почему-либо нужно ее подчинить.

Неспособная понять мотивовъ дѣйствій инстинкта, она молчитъ или иногда протестуетъ, что всегда безрезультатно, но когда дѣйствіе совершено, мысль *прежде* мирится съ дѣйствіемъ, какъ съ совершившимся фактомъ, *потомъ* постепенно проникается важностью и цѣнностью этого дѣйствія и, тогда-то начинается ея *торжество*: тогда она забываетъ о силѣ инстинкта, о томъ, что инстинктъ (разумѣю инстинктъ высшаго порядка \*) идетъ въ жизни своимъ особеннымъ путемъ и къ наиболѣе скрытымъ по-

\*) Современная культура—время такой утонченной мысли, когда «на умныхъ людей по современнымъ понятіямъ» наталкиваешься на каждомъ шагѣ, но натолкнуться на *настоящаго* человека—такіе въ наше время «бѣлые слоны!» Даю поводъ посмѣяться надъ собой господамъ отъ культуры. Главная цѣнность современной культуры въ томъ, что она культивируетъ инстинкты только низшаго порядка—инстинкты только своего «я». Инстинкты повыше—это ей не по плечу. Зато и пожинаетъ обильные плоды: свиней въ жизни не оберешься. Мало у человечества остается цѣнностей отъ вѣчности: вмѣстѣ съ падалью свиньи не задумываясь кушаютъ и святую!



знаніямъ, *тогда* она кричитъ, что человѣкомъ руководить только она одна — «всеобъемлющая мысль!»

И вотъ эта-то «всеобъемлющая мысль» торжествовала. Инстинктъ самосохраненія поставилъ высшую форму гарантіи, а мысль все приписывала себѣ:

— Пойми, чего бояться? Вѣдь, при томъ, что было, смерть была свидѣтель!

Доводъ казался сильнымъ, а тоска и тяжесть не уменьшались; съ ними я добрался до дому и до вечера страдалъ-то съ тупой покорностью, когда чувствуешь какъ глаза твои *умоляюще блуждаютъ по предметамъ*, то съ бѣшенствомъ. Тогда я представлялъ себѣ городъ, его людей, не подлинныхъ, а подмѣненныхъ имъ, и со страстью ненависти хотѣлось:

— Да, да, надо войти въ этотъ міръ; надо узнать, гдѣ въ немъ кроются Канны духа и тѣла; войти въ этотъ міръ тихенькимъ, незамѣтнымъ: для того, чтобы высмотрѣть, гдѣ у этихъ господъ Аххилесова пята. О, не бойтесь! варваръ, который сумѣетъ понять васъ — почему вы допускаете, что этотъ варваръ не сможетъ понять истинныхъ пріобрѣтеній вашей культуры и сохранить ихъ? Не бойтесь. Истинно избранные останутся избранными, а тѣ что явились незваными, тѣ что изъ крови и пота массъ создаютъ себѣ пышный и безконечный пиръ жизни... вотъ ихъ надо спросить, почему они сверху

внизъ смотреть на задавленныхъ, спросить объ особой справедливости, объ особой логикѣ, объ особомъ правѣ... вообще о томъ, что всегда и вездѣ даетъ имъ первенство, взятое хитростью, обманомъ, насиліемъ... Нельзя такъ жить! Что мнѣ дали? Не дали пока ничего, а душу отравили. Жизнь — уже пытка, ужасъ, судорожныя метанія на смерть раненаго звѣря. И развѣ я одинъ? Тысячи, миллионы такъ мечутся.

И такъ глубоко въ эти минуты ненависти я вѣрилъ въ своего учителя — въ Горькаго:

— Онъ глубже раскроетъ мнѣ этотъ міръ... Онъ научитъ меня писать голосомъ неотразимой жизненной правды...

А вечеромъ я получилъ письмо отъ той, которая такъ щедро съ грошевыхъ уроковъ. Сразу во мнѣ упадокъ, сразу затишье и бодрость. Я написалъ ей отвѣтъ, гдѣ говорилъ, что у меня все идетъ такъ, когда лучшаго и желать нечего, что «сегодня у меня самый счастливѣйшій день моей жизни: но и самый отвѣтственный: я долженъ оправдать заботы Горькаго о себѣ.

А на другой день я отправился къ мѣсту своего леченія.

~~~~~  
Полтора мѣсяца я пролечился. И все это время прошло не легко.

Вѣра въ человѣка, побитая людьми до Горькаго, давала себя чувствовать слишкомъ мучительно. Очень пуганная ворона не только куста боится, но и создаетъ себѣ ихъ: деньги мнѣ

Горькій выслать, но на мои письма не отвѣтили мнѣ ни одной строкой—и это вселяло въ меня уже ясную мнѣ боязнь, что какъ бы онъ не поступилъ со мной какъ и другіе.

Мучился я за это чувство стыдомъ за себя, утѣшалъ, что у человѣка и работы много, и корреспонденція поважнѣе, чѣмъ къ моей особѣ, и все таки не могъ вытравить изъ себя эту боязнь.

Она жила во мнѣ неотступно; если я пытался выискать что нибудь противъ нея—она сейчасъ же находила «за» за себя.

Напримѣръ, я читалъ его книги: чтобы почерпнуть вѣру въ него, вернуть бывшее — отъ нихъ на меня вѣяло той твердостью и опредѣленностью убѣжденій, которыя застыли въ жестокихъ формахъ и, вѣрнѣе всего говорятъ объ отчужденности отъ жизни и человѣка.

Тогда я отбрасывалъ его книги, брался за другія—боль родили и другія. И тѣ и другія—оторванность отъ жизни: въ однихъ «ничего въ человѣкѣ, ничего для человѣка, все для моего «я»; въ другихъ это «я» уже съ рѣжущей откровенностью: «все въ человѣкѣ, все для человека!»

Я отбрасывалъ книги:

— Ни то, ни другое. Человѣкъ ползающій по землѣ, стонущій, страдающій никогда не примирится съ тѣмъ; что «для него ничего» и «въ немъ ничего»... Никогда не примирится. Не нужно намъ такъ же и гордыхъ фразъ.

Къ чему онъ? Если ты не забылъ, что такое весь міръ — прошлый, настоящій, грядущій, съ миллиардами умершихъ, живущихъ, имѣющихъ жить,—если ты не забылъ этого, ты никогда не скажешь себѣ: «все въ человѣкѣ, все для человѣка!» Это ложь. Или то самоослѣпленіе, когда не желаешь или не можешь видѣть до какихъ границъ человѣкъ вправѣ считать себя на землѣ свободнымъ и гдѣ границы, гдѣ онъ долженъ подчиняться необходимости.

Такими фразами можно упиваться какъ музыкой, возноситься въ высь, но затѣмъ, чтобы больно оттуда шлепнуться. А когда шлепнешься, то, пожалуй, и не скажешь себѣ: «все во мнѣ, все для меня, да здравствуетъ, молъ, царь земли—человѣкъ!» Нѣтъ, — посмотришь взадъ и впередъ, оглянешься по сторонамъ — и не скажешь. Задумаешься!

Отдыхалъ я на одномъ только Чеховѣ. Онъ не морализировалъ, не проповѣдывалъ, не говорилъ лишнихъ и непужныхъ словъ, но его тонкій и длинный бичъ стегалъ человѣческое ничтожество и пошлость глубже и больнѣе всѣхъ. Въ минуты наиболѣе глубокой тоски я бралъ его книги и шелъ въ паркъ курорта. Здѣсь въ обычные часы весь курортный съездъ въ сборѣ; нѣсколько сотъ людей и всѣ почти знаютъ другъ-друга въ лицо.

Прежде я удивлялся: большинство вѣтхихъ пѣвущіе здоровѣемъ люди—и фдуть лѣнчиться? Чѣмъ больны?

Потомъ пересталъ: безнадежно больные духомъ! Горькіе герои Чехова. О чемъ онъ имъ съ тоскою и болью говорилъ? О нихъ же. А они читали его прежде гнали, потомъ стали похваливать и говорить, что «интересенъ, но мало отражаетъ общественность».

Безнадежно больные духомъ, которые вмѣсто того, чтобы вглядываться въ себя жадно ищутъ только оправданія собственнаго ничтожества въ другихъ. Въ общемъ,— не жизнь, а несчастная въ своемъ уродствѣ суета. Никто не поднимется надъ этой суетой. Противъ чего надо протестовать — не видятъ, а если и видятъ — молчатъ. До того-ли? Временное, случайное, низменное пройдетъ мимо, если его не ловить. Во что бы то ни стало, какъ можно побольше воздать «Кесарево Кесарю», а «Божье Богу?!» — намъ не до того, пусть этимъ занимается кто хочетъ.

Попробуйте говорить имъ, что жизнь полна страшныхъ истинъ и, если этимъ истинамъ не заглядывать во время въ лицо — онѣ не оставятъ себя безъ расплаты, — нищіе духомъ отвернутся отъ васъ.

Скажите имъ, что безъ совѣсти жить нельзя, что только она одна, когда она встаетъ въ челоуѣкъ во весь свой ростъ, утвержденіе, что челоуѣкъ не звѣрь и не себялюбивая дрянь — скажите имъ: они обидятся и возненавидятъ васъ.

Попытайтесь подойти къ нимъ со всей силой смиренія души — они обладутъ васъ презритель-

нымъ высокомеріемъ и, нищій изъ нищихъ духомъ поставитъ себя выше, чѣмъ стоите вы.

Это злобное, тупое стадо, которое по своей злости и тупости отравляетъ жизнь и себѣ и другимъ.

Созидать цѣнное для настоящей жизни — этого они не могутъ въ себя вмѣстить; работать ради будущихъ поколѣній, гдѣ бы многіе имѣли право своимъ существованіемъ сказать: «Я не подмѣненный, а подлинный челоуѣкъ» — это для нихъ пустой звукъ, звукъ не дающій никакого представленія.

Къ концу леченія я отослалъ Горькому вновь написанный рассказъ. Рассказъ — плодъ моей боязни. Вотъ она зависимость то: и лечился и трепеталъ, чтобы какъ бы вновь не очутиться въ роли рака на мели — и все-таки писалъ. Писалъ судорожно, съ цѣлью поскорѣе опредѣлить свое положеніе: вновь-ли получить подтвержденіе, что ты не бездаренъ, или сложить оружіе. Рассказъ сопровождалъ письмомъ, гдѣ опять говорилъ, что сомнѣваюсь въ цѣнности своихъ произведеній и опять повторялъ, что не лучше-ли будетъ, если мнѣ бросить писать.

Леченіе кончилось. Въ послѣднихъ числахъ августа я прибылъ къ Горькому. Прислуга провела меня въ небольшую комнату и попросила обождать. Горькій не появлялся съ четверти часа; и эти четверть часа были для меня вели-

чайшими, но бесплодными усилиями надъ собой.

Я чувствовалъ, что я очень холоденъ, очень сухъ и сдержанъ; такимъ быть вообще не подобаетъ, когда тебѣ благодѣтельствуютъ: благодѣтели любятъ благодарныя лица. Но тутъ мнѣ хотѣлось быть инымъ—по другимъ причинамъ; вѣдь я этого человѣка любилъ полной мѣрой! А такая любовь создаетъ грезы не о такихъ отношеніяхъ: къ любимому надо идти со свѣтлымъ лицомъ, а не съ тѣмъ мрачнымъ отпечаткомъ, который наложили на твое лицо другіе.

Тихо я бродилъ изъ угла въ уголъ по комнатѣ и, чувствуя, что себя мнѣ не поборотъ, мучительно думалъ надъ странностью отношеній.

Такъ я любилъ этого человѣка издали, такъ безгранично въ него вѣрилъ, но когда встрѣтился съ нимъ—ни отъ кого я не былъ отгороженъ такой тяжелой стѣной, какъ отъ него!

Что это такое? Любовь цѣла, а вѣра въ любимого колеблется? И колеблется безъ всякихъ оснований? Какихъ же еще доказательствъ мнѣ надо?

Но вопросы оставались вопросами, а внутренняя пытка росла. Было въ ней и инстинктивное сознание своей правоты и мысленное сознание, *) что я сталъ ни что иное, какъ дрянъ, что люди предшествовавшіе Горькому изломали меня вѣроятно непоправимо: меня сдѣлали ничтожест-

*) Мысль всегда и вездѣ унижаетъ человѣка.

вомъ, я калѣка—не только тѣломъ, но уже и духомъ—у меня разбили вѣру въ человѣка!

И острый стыдъ пронизывалъ меня.

Вотъ онъ сейчасъ войдетъ. Какъ я взгляну ему въ глаза?..

Но, когда вошелъ Горькій—стыдъ мой исчезъ, исчезла также холодность, сухость, осталась нѣкоторая сдержанность, но сдержанность естественная, непринужденная. И здороваясь съ нимъ, я прямо ему взглянулъ въ глаза—взглянулъ кротко, тихо, съ яснымъ чувствомъ, что я воспиталъ въ себѣ къ этому человѣку необъятную, благоговѣйную любовь, а одновременно и съ другимъ чувствомъ—непонятымъ для меня: съ такой глубиной, смертельной тоской я взглянулъ на него—съ такой тоской смотреть только люди съ сердцемъ разбитымъ печалью...

Все во мнѣ замерло. Печаль моя во мнѣ выше всего.

Онъ спросилъ меня, что не чувствую-ли я себя лучше послѣ леченія. Я отвѣтилъ, что по мнѣнію врачей, благотворные результаты леченія наступаютъ не сразу, а постепенно, что одного этого курса для меня недостаточно—это только начало леченія.

Поднятый вопросъ близко касался меня, а я говорилъ о немъ машинально, тѣмъ тономъ, когда передаютъ чужія слова только затѣмъ, что ихъ нужно передать. Потомъ Горькій какъ-то внезапно спросилъ:

— Что вы думаете теперь дѣлать?

Я сказать, что мнѣ хотѣлось бы имѣть какое нибудь мѣсто.

Онъ подумалъ—и медленно и увѣренно сказалъ:

— Я васъ устрою въ художественный театръ. Но это потомъ, а теперь слѣдуетъ васъ отправить въ Ялту. Здѣсь осенніе мѣсяца для васъ будутъ тяжелы, а тамъ ихъ легче переживете. Море тамъ посмотрите: это вамъ тоже нужно.

Помолчалъ.

— Определенно пока этого не общаю. Но если на дняхъ получу изъ-за-границы деньги, тогда такъ и сдѣлаемъ. Оставьте свой адресъ. Денька черезъ три вопросъ о деньгахъ у меня выяснится—тогда я вышлю вамъ деньги и письмо къ одному писателю въ Ялтѣ: чтобы онъ васъ лучше тамъ устроилъ.

Я далъ адресъ, поблагодарилъ. И спросилъ относительно разсказа, посланнаго изъ Руссы.

— Пока его не читалъ. Но въ скоромъ времени прочту.

Затѣмъ мы простились.

Я вполне оцѣнилъ такую тонкую, трогательную предусмотрительность, что въ Ялтѣ осень мнѣ пережить легче: я говорилъ себѣ, что получая новыя и новыя подтвержденія челоуѣчности этого челоуѣка, я долженъ откинуть всѣ сомнѣнія о немъ, я долженъ въ него вѣрить безъ единой дурной мысли о немъ. И я вѣрилъ. Но не долго. Пять дней я прожилъ въ ожиданіи отъ него извѣстій, испытывая тихую радость, что есть челоуѣкъ, который не броситъ

меня безпомощнаго, но эту тихую радость давила печаль, огромная, смутная печаль.

А уже послѣ пяти дней началъ тревожиться.

Прошла недѣля, наступила другая, и она шла къ концу—а отъ Горькаго никакихъ извѣстій.

И опять что-то зловѣщее, опять дикія мысли, въ которая и самъ не вѣришь, а мучаешься, что и этотъ броситъ, забудетъ какъ забыли другіе.

— Обѣщался написать черезъ нѣсколько дней—и до сихъ поръ ничего! Чѣмъ объяснить?

Эта фраза и этотъ вопросъ мучили меня подъ конецъ второй недѣли безъ устали, даже во снѣ. И во снѣ я повторялъ то заключеніе, къ какому приходилъ днемъ:

— Невыносимо... невыносимо такъ жить!

Объясненіе потомъ нашлось. Очень простое.

Горькій перепуталъ адресъ и, когда шли справки въ адресномъ столѣ, деньги лежали на главномъ почтамтѣ.

Но получивъ деньги я почему-то не получилъ ни отъ Горькаго письма, ни письма къ писателю въ Ялтѣ.

Ѣду къ нему и не удачно: онъ уѣхалъ въ Москву, гдѣ останется на всю осень и зиму.

Эти свѣдѣнія даютъ мнѣ прежде мысль написать ему, что нужнаго письма я почему-то не получилъ, но потомъ эта мысль смѣняется рѣшеніемъ ѣхать тоже въ Москву.

И я ѣду.

Все сложилось такъ, какъ я желалъ.

Встрѣча вышла мягкой и теплой. На мои объясненія, какъ я получилъ деньги, но совѣмъ не получилъ письма — Горькій съ улыбкой упрека себѣ покачалъ головой:

— Адресъ перепуталъ? Какъ же это я такъ? Ну, бѣда поправима: напишемъ другое письмо. Набираясь рѣшимости, я немного помолчалъ.

— Алексѣй Максимовичъ, у меня къ вамъ просьба: если это можно — нельзя-ли мнѣ въ Ялту не ѣхать? Я хотѣлъ бы остаться здѣсь.

Горькій немного удивился:

— Почему? Ну, и человѣкъ. Тамъ — море! Кроме моря — какая природа... А главное — климатъ. Здѣсь скоро наступятъ дожди, слякоть; вамъ съ такимъ ревматизмомъ плохо здѣсь будетъ.

«Почему?»

Не объяснять же ему, что меня преслѣдуетъ какая-то манія невѣрія, что я могу чувствовать себя спокойнѣе лишь тогда, когда насъ не отдѣляетъ большое разстояніе?

Вновь я помолчалъ и тихо отвѣтилъ:

— Мнѣ хотѣлось бы быть поближе къ вамъ.

Черта хорошихъ натуръ — это очень скромно, даже стыдливо принимать выраженія хорошихъ чувствъ въ себѣ и стыдливо выражать свои чувства такого же порядка.

Эта черта есть у Горькаго. Взглядъ съ моего лица онъ перевелъ въ сторону; лицо его подернулось мягкой дымкой смущенія и, тоже тихо онъ сказалъ:

— Тогда оставайтесь здѣсь. Неволить грѣхъ. И уже съ веселой улыбкой:

— Вотъ, какъ наступить слякоть — тогда и пожалѣете объ Ялтѣ.

Я тоже улыбнулся:

— Нѣтъ, не пожалѣю. Сейчасъ иду комнату себѣ искать.

— Идите. Комнату ищите хорошую, не сырую. А когда устроитесь, сообщите адресъ.

Принимая въ расчетъ свои никудышныя ноги, я комнату нашелъ себѣ, какъ разъ противъ художественнаго театра: недалеко ходить, когда Горькій устроитъ меня въ него на какое-нибудь дѣло!

Сообщилъ Горькому адресъ и засѣлъ за работу. «Надо работать». — Эти слова были для меня бичомъ. Чувствовалась настоящая необходимость продолжительнаго отдыха, но какъ думать объ отдыхѣ, когда сидишь на чужой шеѣ? Первые три недѣли я провелъ въ общемъ спокойно, но дальше... Деньги, эти проклятыя деньги — они на исходѣ, и это выводитъ меня изъ равновѣсія. Опять это мучительно-гнетущее чувство, когда пойдешь за ними, опять сомнѣніе въ пригодности того, что ты пишешь. Я пишу Горькому письмо, гдѣ прошу высказать мнѣніе о томъ разсказѣ, который выслалъ ему изъ Руссы.

Я боюсь быть навязчивымъ, я сознаю, что, можетъ быть, отрываю его отъ своего дѣла, и

все таки пишу, ибо деньги на исходѣ: благоприятное мнѣніе о разсказѣ облегчить просьбу о нихъ. Въ ожиданіи я волнуюсь до крайностей.

— Ну, а что, если онъ напишетъ, что вещь безнадежна? Что тогда?

Это «тогда» говоритъ мнѣ о печальномъ концѣ? Тупо, по цѣлымъ часамъ я просиживаю за письменнымъ столомъ, думая, что неопредѣленность положенія и матеріальная зависимость убиваютъ меня больше чѣмъ болѣзнь, не даютъ мнѣ возможности спокойно и вполне продуманно работать.

Наконецъ, получаю письмо отъ Горькаго и свой разсказъ.

«Васька Богдановъ—великолѣпная тема, но написана плохо. Длинно! Скучно! Для меня несомнѣнно, что вы будете писать и должны писать, но теперь вамъ нужно—учиться. Нужно читать и читать какъ можно больше и—хорошія книги. Получивъ это письмо и рукопись—приходите ко мнѣ часовъ въ 12 или въ 5. Нужно поговорить».

Я мало радуюсь фразѣ, что «я буду писать и долженъ писать». Я чувствую одно огромное облегченіе, что теперь мнѣ легче будетъ заговорить о деньгахъ. И грустно на душѣ: если бы Горькій зналъ подъ давленіемъ чего я пишу свои разсказы!

Я беру читанную имъ рукопись, просматриваю и понимаю, что страхъ быть покинутымъ,

виситъ надо мной, какъ Дамокловъ мечъ; этотъ страхъ заставляетъ меня спѣшить, спѣшить до того, что я успѣваю выявить только мысль, замыселъ, а облечь этотъ замыселъ въ нужную форму, въ красивыя краски—мой истощенный, малокровный мозгъ требуетъ на это время, а я ему этого не даю.

Съ грустнымъ чувствомъ, я въ 5 часовъ ѣду къ Горькому, и въ первый разъ попадаю къ знаменитости на обѣдъ.

На мое счастье, кромѣ Горькаго и его жены за обѣдомъ никого.

И онъ и она ко мнѣ необыкновенно милы, участливы; я чувствую, что меня хотятъ «отогрѣть» и расцвѣтаю настолько, насколько можетъ вообще расцвѣсть человѣкъ сильно иззябшій въ жизни и ушибленный ею.

Я сытъ; уже пообѣдалъ дома, но меня заставляютъ ѣсть, полагая что я стѣсняюсь.

Я сытъ, пріемъ таковъ, что будь голодень и забудешь о голодѣ. Я покоряюсь и ѣмъ. Меня журятъ за нелюдимость.

— Что же это вы? Столько времени прошло, а вы до сихъ поръ къ намъ и не заглянули,—говоритъ Марія Ѳедоровна.

Горькій подхватилъ:

— Да, да! Я тоже хотѣлъ сказать. Заходите къ намъ попросту какъ свой человѣкъ. Обѣдаемъ мы всегда въ это время. У насъ бывають артисты, художники, писатели. А вамъ такихъ людей необходимо надо видѣть.

Я на седьмомъ небѣ. Благодарю и обещаюсь бывать.

— Въ театрѣ вамъ тоже непременно нужно бывать—добавляетъ Горькій.

Я на это отмахиваюсь рукой и заявляю, что слишкомъ дорого буду тогда Горькому стоить. Потомъ рассказываю, что дороговизна жизни въ Москвѣ меня ужасаетъ, что за одну только комнату плачу 24 рубля, а со всѣми остальными расходами мнѣ нужно около 60 рублей въ мѣсяцъ.

Какіе же тутъ театры? Театры для меня дорогая вещь: въ театрѣ—на извозникѣ, изъ театра тоже.

Надо мной весело смѣются. Потомъ Горькій говоритъ:

— Деньги? Что деньги? Когда деньги выходить, пожалуйста, не стѣсняйтесь. Съ этимъ обращайтесь вотъ къ Марьѣ Федоровнѣ; деньгами она у меня завѣдуетъ. А въ театрѣ все-таки бывайте. Это вамъ тоже необходимо.

Я чувствую, что все предусмотрено, чтобы меня «приручить», чтобы сгладить мою острую чувства зависимости—но противъ театровъ протестую:

— Не рѣшусь. Дорого очень. Вотъ, если Марья Федоровна раздобрытся на даровые билеты мнѣ въ художественный театръ, тогда... «на дармачка» не откажусь.

Надъ «дармачкомъ» улыбаются и, по возможности общаются доставать билеты. Потомъ

Горькій предложилъ мнѣ рассказъ «Васька Богдановъ» попытаться передѣлать въ пьесу:

— Жаль его печатать, какъ рассказъ; рассказъ мало даетъ. А когда передѣлаете—тогда посмотримъ...

И еще сюрпризъ:

— Вотъ что. Сегодня я вамъ дамъ письмо къ одному доктору; идите завтра къ нему—онъ осмотритъ васъ и направитъ, гдѣ и чѣмъ вамъ нужно лечиться. Писатель долженъ быть здоровымъ человѣкомъ.

Я уже не благодарю; я подавленъ заботами обо мнѣ до того, когда все принимается молча; наклоняю голову и коротко говорю:

— Хорошо,

Обѣдъ кончился.

Я получаю письмо, деньги, еще разъ напоминаніе чтобы я заходилъ «запросто», не стѣснялся въ расходахъ—и ѣду домой.

Тихо на душѣ. Вся тяжесть прошлой жизни гдѣ-то далеко-далеко; чудится новая жизнь, новые прекрасные люди...

Изъ этихъ прекрасныхъ людей я зналъ пока еще двоихъ; тѣхъ, которыхъ только что оставилъ, но ради этихъ двоихъ все тяжкое и грубое въ прошлой жизни мнѣ хотѣлось простить и забыть.

Прошло два мѣсяца.

Два мѣсяца головокружительныхъ обмановъ и темнаго страха.

Я лечился въ хорошей лечебницѣ. Пьеса, передѣланная изъ разсказа—дала мнѣ нѣчто совершенно неожиданно-негаданное.

Два раза я Горькому напоминалъ о его общаніи устроить меня при Художественномъ театрѣ; какъ ни просили меня «не стѣсняться, когда нужны деньги», но я все таки тяготился зависимостью и предпочиталъ имѣть свое.

На мои просьбы Горькій разъ мнѣ отвѣтилъ, что какънибудь объ этомъ онъ съ дирекціей поговорить, а когда я заикнулся во второй разъ, онъ прямо заявилъ:

— Говорилъ вамъ и опять говорю: не стѣняйтесь, когда нужны деньги. Почему вамъ не премѣнно мѣсто? Для писателя очень плохо, когда онъ связанъ какимънибудь дѣломъ.

Но, когда я передѣлалъ разсказъ въ пьесу и онъ прочиталъ ее—тогда мысль о мѣстѣ онъ у меня отнялъ окончательно.

— Вотъ вы все говорили о мѣстѣ. На что вамъ оно? Эту пьесу я поставлю въ Художественномъ театрѣ. Она васъ обезпечитъ.

Я былъ ошеломленъ; растерялся до того, что какъ истый мужикъ, почесалъ въ затылкѣ и глупо произнесъ:

— Ну...

А Горькій добавилъ:

— Тысячи двѣ ежегодно вамъ дастъ. Въ этомъ же сезонѣ поставимъ.

Слово «поставимъ» звучало такой увѣренностью, что мнѣ и въ голову не пришло сом-

нѣваться въ этомъ. Въ пьесѣ *) Горькимъ были сдѣланы указанія на незначительныя измѣненія—и эти указанія онъ попросилъ меня выполнить поскорѣе:

— Долго не задерживайте. Принесете, я еще разъ просмотрю и пошлемъ въ цензуру.

Я по его указаніямъ исправилъ, отнесъ ему и... съ этихъ поръ началъ дѣлать глупости.

Первая глупость.

Вдохновленный тѣмъ, что изъ моего разсказа вышла двухактная пьеса, да не для какогонибудь театра, а для Художественнаго—я читаю пьесы Ибсена, Гауптмана, нашихъ отечественныхъ драматурговъ, а потомъ... потомъ пишу четырехактную пьесу.

Меня зажгли, мнѣ одурманили голову и я убиваю себя, заставляя свой малокровный мозгъ, лихорадочно работать по 14 часовъ въ сутки сидя за столомъ, да кромѣ этого еще по ночамъ въ постели: вздремну часть-другой и просыпаюсь и при свѣтѣ свѣчи пишу карандашомъ на клочкахъ бумаги.

Пятнадцать такихъ безумныхъ дней—и пьеса въ чернѣ готова.

Со мной вмѣстѣ въ лечебницѣ лечится драматургъ Ю. и артистъ А. И. Оедотовъ. **) Я лечусь отъ ревматизма; доктора довольны, когда

*) Эта пьеса будетъ напечатана к—вомъ «Современныхъ проблемъ».

**) Покойный.

у меня за недѣлю прибавляется фунтъ вѣсу; они лечатся отъ ожиренія.

Ю. — титулованный аристократъ; онъ мной очень интересуется, очень ко мнѣ любезенъ—но моему самолюбію плебея это нисколько не льститъ: я хорошо учитываю всю силу событій конца 1905 года и внутренне усмѣхаюсь:

— Вотъ она гроза то!..

Въ другое время этотъ человѣкъ удостоилъ бы меня только взглядомъ сверху-внизъ, а теперь... теперь меня увѣряютъ уста титулованнаго человѣка, что титулы—это предрасудки, что на трудящіеся классы онъ смотритъ не только съ точки зрѣнія равенства, но и выше: жизнь требуетъ обновленія, а господствующая надъ ней аристократія этого дать не можетъ, она вырождается; идутъ новые строители жизни—трудящіеся классы и они волюють въ нее новое и здоровое содержаніе...

И вотъ, Ю. узнаетъ отъ меня, что я написалъ четырех-актную пьесу и, заявляетъ:

— Очень радъ буду ознакомиться съ ней. Дайте почитать.

Я говорю, что почеркъ мой безобразенъ и читать его очень трудно.

— Ничего, освоюсь.

Пьесу я намѣтилъ къ обработкѣ; мнѣ очень хочется поскорѣе ее выправить и отдать на просмотръ Горькому, но и мнѣніе драматурга интересуетъ. И я предлагаю:

— Очень радъ буду вашему просмотру; буду

благодаренъ вамъ за указанія, но вотъ бѣда: пока вы ее будете читать—съ меня спадетъ настроеніе работать надъ ней. Такая ужъ у меня особенность. Насколько вы ее задержите?

— Быстро прочту.

— Дня въ три-въ четыре успѣете?

— Вполнѣ. Обѣщаю въ три дня.

Я вручаю пьесу и искренно жалѣю:

— Посмотрите, что за почеркъ? Тяжелый трудъ на себя берете. Можетъ быть, подождете, когда она будетъ переписана получше?

Смотритъ Ю. на почеркъ и улыбается.

— Почеркъ не красивъ, но въ общемъ разборчивъ.

И вѣрно: Ю. свое слово сдержалъ. Черезъ три дня дѣлится со мной впечатлѣніями о моей пьесѣ.

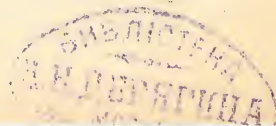
Съ пафосомъ и жестами присущими артистамъ онъ долго говоритъ о тѣхъ герояхъ пьесы, которые ему наиболѣе понравились.

Прежде я съ острымъ вниманіемъ слушаю его—потомъ мое вниманіе притупляется.

Въ общемъ все похвалы, похвалы, но считали эти похвалы за дѣйствительныя цѣнности—этого я не чувствую.

Положительное я приму отъ человѣка только тогда за положительное, когда вижу, что этотъ человѣкъ можетъ уяснить себѣ и обратную сторону положительнаго—отрицательное.

Словомъ, если хорошо—то почему?, если плохо—то тоже?.



Иначе похвалы и приписанія для меня пустыя звуки.

Долго говорилъ Ю. и кончилъ тѣмъ:

— Пьеса безусловно достойна постановки. По моему, какъ драматургъ, вы далеко пойдете: главное для драматурга у васъ есть—это умѣнье завязывать въ интересахъ мѣстахъ узлы. Гдѣ вы ее думаете ставить?

Со скучнымъ чувствомъ въ душѣ я принялъ этотъ послѣдній панегирикъ и отвѣтилъ, что мѣсто постановки пьесы зависитъ отъ Горькаго.

Потомъ я прочелъ эту пьесу А. И. Ѳедотову; онъ на похвалы оказался скупъ и сдѣлалъ нѣсколько такихъ существенныхъ замѣчаній о недостаткахъ пьесы, за которые я могъ быть только благодаренъ.

А въ общемъ, и его мнѣніе было таково, что пьеса постановки достойна.

Категорически обѣщанная постановка двухактной пьесы въ этомъ-же сезонѣ, вновь написанная четырехактная и тоже не безнадѣжная—все это моей головы настолько, чтобы я вообразилъ себя исключительнымъ дарованіемъ и сталъ рисовать себѣ большія перспективы, не вскружило, но на столько, чтобы спокойно глядѣть на свое будущее—на эту мѣру я былъ обманутъ.

Меня толкнули на ложный путь,^{*)} а я началъ играть въ великодушіе: пусть я много

^{*)} Потому этотъ путь называю «ложнымъ»: толкнули на этотъ путь и бросили на немъ. Словомъ, люди, какъ люди!...

пострадалъ, помытарился, но все таки я не погибъ—значить надо все и всѣмъ простить.

И я все прощаю, всѣхъ предаю забвенію, кромѣ батюшки: онъ ультра-моралистъ, а потому съ него надо кое что спросить, ибо за эту мораль онъ удить не малыя денежки.

И вотъ я пишу ему, что если тотъ матеріалъ, который я далъ ему и, за который мнѣ было обѣщано заплатить *дороже*, чѣмъ бы мнѣ за него заплатила любая редакция, что если этотъ матеріалъ у батюшки цѣль, если онъ его не утилизировалъ на то, на что думалъ—пусть онъ вернетъ его мнѣ, я воспользуюсь имъ самъ.

А потомъ... потомъ ни слова ни говоря о томъ, въ какое положеніе поставилъ меня его внезапный отъѣздъ, какъ я изъ этого положенія вышелъ—прямо пишу, что дѣла мои поправляются, что въ этомъ сезонѣ мнѣ обѣщана постановка моей пьесы на сценѣ Художественнаго театра, (кѣмъ обѣщана—объ этомъ тоже ни слова) но пока я все еще нуждаюсь и прошу помочь пережить мнѣ трудное время: «Мнѣ нужно рублей 150, въ крайнемъ случаѣ 100; если у васъ будетъ возможность оказать мнѣ эту поддержку, я, когда поставитъ я моя пьеса, верну вамъ эти деньги, а такъ же и тѣ, которыми былъ обязанъ раньше съ глубокой благодарностью».

Отвѣтъ не заставилъ себя долго ждать: я получилъ его черезъ три дня.

«Большое спасибо, что откликнулись. Какъ здоровье? Очень радъ, что вы ра-

ботае, но боюсь, что вы создаете себе иллюзію, будто поставятъ Вашу пьесу у Станиславскаго. Не думаю. Вамъ еще много надо работать надъ собой. Статьи Ваши *всѣ нетронуты*. Могу выслать. Съ деньгами заминка. Не могу дать. Много ушло на рабочихъ во время забастовки и сейчасъ идетъ на стипендіи студенчеству. Жаль, но не могу. Привѣтъ».

Я прочелъ И... скривилъ губы.

Не то письмо... Не тѣ слова...

«Большое спасибо, что откликнулись».

Доволенъ человѣкъ. Даже «большое спасибо говорить»...

«Какъ здоровье?»

Лучше батюшка, да только не по вашей милости!

Не то письмо, не тѣ слова... Ложь и ложь... И самодовольство буржуа въ рясахъ, что въ дѣлѣ милосердія «и онъ пашетъ». Что за сѣмена на этой пашнѣ онъ сѣетъ — этого не видить; посягалъ немного и довольно: дальше платонизмами отдѣлаемся!

А если человѣкъ встанетъ, поднимется, да промолчитъ, чѣмъ онъ платился за такую помощь, за роль «человѣка-мячика» — тогда и пальцемъ на него покажемъ: «въ трудное время ему помочь!»

И всякій припишетъ честь спасенія человѣка себѣ.

Не вѣрилъ я «ни въ рабочихъ», «ни въ сти-

пендіи студенчеству»; или, вѣрилъ, но... если дорого продаешь на книжномъ рынкѣ свою мораль, такъ, вѣдь, для этого нужна реклама!

Зналъ я эти тощія брошюрки на скверной бумагѣ, но цѣна имъ такъ высока... цѣну только и можетъ оправдать реклама «добраго человѣка». «Не только, молъ, учить, но и самъ на дѣлѣ осуществляетъ свое ученіе».

Радъ, что я «откликнулся» и хоть бы одно слово о томъ, какъ я дотянулъ до возможности откликнуться?

Какъ жилъ? Гдѣ? На что?

Ни одного такого вопроса. Какъ будто манна съ неба падаетъ!

О, вы «повапленные гроба»! Тѣ лицеѣры и фарисеи, что «по наружности кажетесь людямъ праведными, а внутри исполнены лицемерія и беззаконія».

Потомъ меня душила злоба на себя.

— Идіотъ, — говорилъ я себѣ: — Ты хотѣлъ вступить на путь великодушія, на путь прощенія: вотъ пожинай теперь плоды. Ты хотѣлъ перекинуть мостикъ черезъ бездну — бездна раскинулась еще шире и глубже. Ты протянулъ руку примиренія — тебя не поняли, обошли, ты стоишь съ протянутой рукой ошельмованный, оплеванный, а фарисей тамъ, можетъ быть, злорадствуетъ на тебя за то, что ты еще разъ посягнулъ на его «серебрянники». *)

*) Даже и это предположеніе сбылось. О немъ рѣчь впереди.

Потомъ было грустно и больно... такъ, какъ у человѣка съ сердцемъ разбитымъ печалью.

Мой глупый и наивный планъ вступить на путь примиренія былъ таковъ.

Деньги мнѣ были не нужны, ибо въ этомъ сезонѣ вѣдь постановка моей пьесы!

И вотъ мой расчетъ: онъ пришлетъ мнѣ деньги, а я ихъ черезъ недѣлю верну. Верну и скину съ души ту тяжесть, которую навалилъ этотъ буржуа въ рясѣ.

Глупый и наивный человѣкъ, — своимъ письмомъ я думалъ пробудить въ немъ совѣсть: вѣдь, не можетъ же онъ не задуматься, какъ, молъ, этотъ мой бывший протеже существуетъ до сихъ поръ?

Не можетъ не вспомнить, когда объ этомъ *напоминаютъ*, что за данный матеріалъ обѣщано заплатить больше, чѣмъ кто либо заплатитъ?

Не задумался, не вспомнилъ такъ, какъ *слѣдуетъ* задуматься и вспомнить: слишкомъ толстокожъ! Деликатными намеками не проймешь — значить остаются только грубые удары. Око за око! Я сѣлъ и написалъ ему.

«Пришлите, пожалуйста, мнѣ мой матеріалъ: я его постараюсь использовать, какъ сумѣю! *) Постановка моей пьесы — не иллюзія: это мнѣ категорически обѣщано человѣкомъ, имѣющимъ при художественномъ театрѣ большой вѣсъ. Со-

*) На это письмо я отвѣта не получилъ; не получилъ я также и матеріала.

вершенно согласенъ съ Вами, что мнѣ еще много надо работать надъ собой. И я работаю надъ собой. Буду ковать сильное оружіе противъ тѣхъ, про которыхъ сказано: «Горе вамъ, книжники и фарисеи, лицемѣры, что затворяете Царство Небесное человѣкамъ; ибо сами не входите и желающихъ войти не допускаете.» Противъ тѣхъ: «Вожди слѣпые, оцѣживающіе комара, а верблюда поглощающіе!» Словомъ, какъ человѣкъ, лучше меня знающій Евангеліе, Вы поймете меня».

Двѣ тысячи ежегоднаго дохода!

Я написалъ четырехактную пьесу; напишу, можетъ быть, еще нѣсколько пьесъ — но о томъ, что мнѣ онѣ дадутъ, объ этомъ не думаю.

Къ чему? Двѣ тысячи ежегоднаго дохода — это то, о чемъ я никогда не осмѣливался мечтать; это то, что меня сразу дѣлаетъ счастливымъ человѣкомъ.

Пусть, кому надо больше — хапаетъ, а съ меня довольно и этого.

Я пишу Горькому письмо, гдѣ говорю, что обѣщанная имъ постановка моей пьесы дастъ мнѣ возможность къ тому, чего я такъ давно и такъ страстно хотѣлъ: хочу жениться на той которая такъ щедро съ грошевыхъ уроковъ!

Въ письмѣ говорю подробно о томъ, кто она и, что она для меня: я безъ этой дѣвушки —

земля безъ неба. Она—крылья для моего вдохновенія; тотъ чудесный источникъ, который давалъ мнѣ силу и даетъ, когда я начинаю падать отъ безсилія.

Я написалъ ему длинное письмо, а въ концѣ, со слезами на глазахъ говорилъ, что тѣмъ счастливымъ, что робкой тѣнью надежды жило въ моей душѣ и, что помогло мнѣ пережить то, чего одинъ бы не пережилъ—этимъ большимъ счастливымъ я обязанъ никому иному, какъ ему, Горькому.

Она, это мое «большое счастье», пріѣхала въ Москву въ половинѣ сентября. Училась на Высшихъ Женскихъ курсахъ, гдѣ ей оставалось пробыть всего два года. Въ раннемъ дѣтствѣ и юности прошедшая такой тяжкій, крестный путь, который въ концѣ-концовъ учить вѣчному самоуглубленію, вѣчной внутренней работѣ надъ собою—она была чужда поклоненію себѣ; все что въ ней—ее неудовлетворяло, хотѣлось быть большимъ и большимъ; всѣ цѣли, къ которымъ она шла настойчивыми, твердыми шагами, не поднимали ее высоко въ своихъ глазахъ, а вырабатывали только критическое отношеніе къ себѣ: смотрѣть на цѣли въ жизни, какъ на долгъ передъ жизнью и, какъ можно строже относиться къ своему «Я». Такія за себя не радуются: радуются за другихъ.

Какъ истинныя посланницы небесъ, отдають сокровища своей души другимъ, а себѣ оставляють только право—право подвига.

И любятъ только тѣхъ, кто «дитя несчастья».

Она навѣщала меня въ недѣлю раза два-три и, съ постоянной боязнью:

— Родной, не помѣшаю?

Молодая, красивая, съ голосомъ, который давалъ право авторитетамъ пѣнія сулить ей заманчивую карьеру большой пѣвицы, убѣждать, что погубить такой голосъ для такой маленькой роли, какъ учительница, это преступленіе противъ искусства, бравшихся за обработку ея голоса съ условіемъ, что платить за это она будетъ тогда, когда выдвинется—она твердо стояла на своемъ:

— Буду учить дѣтишекъ. Всякому свое: иному сцена, иному школа.

Дѣвушка, съ такими широкими перспективами на жизнь, она меня иногда пугала:

— Слушай. Что я тебѣ? Больной, изломанный мытарствами, человѣкъ безъ воспитанія и образованія, человѣкъ изъ другого класса—я боюсь, какъ бы вмѣсто счастья не вышло несчастья.

Она хмурила брови.

— Что за глупости. Не ребенокъ. Отдаю себѣ отчетъ въ томъ, что дѣлаю. Сердцу не прикажешь, кого любить и кого нѣтъ.

Она меня пугала, но она была и необходима, какъ воздухъ.

Несмотря на то, что неожиданности вродѣ постановки пьесы на меня падали, какъ съ неба—меня все же по временамъ охватывалъ смутный, страшный неподавимый страхъ передъ бу-

лущимъ, гдѣ Горькій стоялъ человѣкомъ все-
лявшимъ въ меня острую боязнь.

Почему я его долженъ бояться? Этотъ воп-
росъ казался дикъ, нелѣпъ; его вниманіе и уча-
стіе ко мнѣ уже выросло до трогательныхъ ме-
лочей—онъ и его жена, когда я являлся къ
нимъ, спрашивали:

— А фуфайка теплая есть на васъ?

— Есть.

А одинъ разъ даже не повѣрили:

— Маруся, посмотри-ка, есть-ли?

«Маруся» отворачиваетъ обшлага верхней ру-
башки и убѣждается:

— Есть. Не обманываетъ.

— Ну, то-то! Фуфайки вамъ непременно нуж-
но носить.

Какъ я могъ допускать какую-то боязнь это-
го человѣка?

И я не допускалъ. А страхъ давилъ, мучилъ;
я говорилъ себѣ, что я боленъ, что надо взять
себя въ руки, а страхъ не отходилъ до тѣхъ
поръ, пока я не мчался къ любимой дѣвушкѣ.
Съ ней—у меня отъ страха только слѣды не-
доумѣнія.

Разъ она посмѣялась:

— Ты очень напуганъ другими—и больше ни-
чего.

Разъ сдѣлала выводъ:

— А знаешь что: если боишься,—значить не-
любишь. Любимаго бояться нельзя.

Я увѣрялъ, что люблю люблю огромнымъ,

необъятнымъ чувствомъ, люблю до крайности.
когда я думаю о своей любви къ Горькому—
мнѣ представляется онъ, но онъ, олицетворяю-
щій собою не только себя, а что-то большее,
неизмѣримое, что то такое *то*, во что мнѣ
страстно хочется вѣрить, какъ въ неизмѣнно
прекрасное.

Она подумала:

— А меня не боишься?

— Нѣтъ. Въ тебя вѣрю, какъ въ Бога.

— А въ чемъ ему не вѣришь?

— Самъ не знаю. Прежде боялся: бросить,
какъ другіе бросили. Теперь убѣжденъ, что
этого не будетъ, но чего-то боюсь.

И со смѣхомъ любящей женщины и съ чув-
ствомъ матери, она меня успокаивала:

— Отбрось все это. Напугали тебя другіе до-
маніи—вотъ ты и выдумываешь.

Но моя боязнь оказалась «не маніей». Вскорѣ
послѣ письма, гдѣ говорилъ о намѣреніи же-
ниться, я пошелъ къ Горькому.

Встрѣтились по обыкновенію тепло, радушно;
пожимая мнѣ руку, Горькій говорилъ:

— Да, отъ васъ есть здѣсь письмо. Я его
еще не успѣлъ прочесть. Въ чемъ дѣло?

Я хотѣлъ было ему объяснить, но въ это время
Горькаго позвали къ какому-то пріѣзжему изъ
Петербурга.

Я отложилъ объясненіе до слѣдующаго раза.

Но и въ слѣдующій разъ мнѣ объясниться не
пришлось: когда я пришелъ въ обычное время

къ обѣду—Горькій уже былъ за столомъ, гдѣ на этотъ разъ было человѣкъ до 15 гостей.

И съ перваго момента, съ момента, когда я поздоровался съ Горькимъ и уловилъ на себѣ его тяжелый, молчаливый взглядъ—впервые онъ меня встрѣтилъ молча, — я почувствовалъ, что что-то въ его отношеніяхъ ко мнѣ случилось, что я тутъ сталъ чужой.

И это чувство не покидало меня до конца обѣда. Онъ, говоря съ другими, меня точно не видѣлъ, не бросилъ ко мнѣ ни одного слова, но три раза наши взгляды перекрещивались и я читалъ въ нихъ что-то противъ меня враждебное.

— Почему?

Этотъ вопросъ поднималъ во мнѣ всю муть моего стараго страха; поднималъ и, должно быть, отражался на мнѣ очень замѣтно.

— Вы сегодня что-то исключительно плохо выглядите,—отнеслась ко мнѣ жена Горькаго.

Я отговорился другимъ.

— Возможно. Лечение у меня очень не легкое.

Горькій взглянулъ на меня и, опять я прочелъ въ его взглядѣ встрѣтился съ его и опять я прочелъ въ его взглядѣ враждебное чувство.

Кончился обѣдъ. Когда вставали изъ-за стола, я сказалъ Горькому, что мнѣ надо съ нимъ поговорить.

Суровымъ тономъ, съ опущенными глазами внизъ, онъ отрѣзалъ:

— Мнѣ некогда. Какъ нибудь потомъ.

Я ушелъ домой.

Бессонная ночь напролетъ.

То мнѣ казалось, что причина такого внезапнаго отношенія ничто иное, какъ мое письмо; тогда, я говорилъ себѣ, что должно быть недаромъ художникъ Вагинъ въ его «Дѣтяхъ Солнца» изрекаетъ: «художникъ долженъ быть одинъ,» — и я возмущался всей силой своего существа:

— У кого есть право накладывать свое «вето» на личную жизнь другого? И еще тотъ человѣкъ, который такъ много говоритъ о томъ, чтобы любить жизнь, любить людей, выше всего ставить свободу личности? Если бы онъ далъ мнѣ совѣтъ—я послѣдую этому совѣту, но если мнѣ молча даютъ понять: «Не смѣть!»—подчиниться ли мнѣ? Кому больше извѣстна моя «внутренняя необходимость»—ему, или мнѣ?

То мнѣ казалось, что я просто на-просто создаю изъ мухи слона: какъ у человѣка стоящаго во главѣ движенія—развѣ у него не можетъ быть дѣлъ неизмѣримо важнѣе одной личности? Ему не до меня—и больше ничего.

И эта мысль восторжествовала настолько, что черезъ день мнѣ уже казалось, что я очень глупо поступилъ вмѣшивая его своимъ письмомъ въ свою личную жизнь.

И я сдѣлалъ то, что хотѣлъ: любимая дѣвушка стала моей женой.

~~~~~  
Прошло двѣ недѣли.

Нужны были деньги. Но самъ я побывать за



ними не могъ: простудился и слегъ въ постель отъ лихорадки.

Говорю женѣ:

— Иди къ Горькому, если хочешь посмотрѣть на него.

Она пошла съ письмомъ отъ меня. Чувство независимости въ своей личной жизни проснулось во мнѣ настолько, что я въ письмѣ даже не упомянулъ, что это моя жена. Припомнилось письмо, то, которое было писано «со слезами на глазахъ» и, то, что по поводу этого письма не обмолвились ни однимъ звукомъ—это письмо казалось мнѣ урокомъ, чтобы впредь изъ своего «святая святыхъ души» ничего не выносить даже къ самымъ близкимъ людямъ. «Фуфайками» подкупили, ну и опростоволосился на то, на что совсѣмъ не слѣдуетъ,—горько пронизировалъ я надъ собой.

Въ письмѣ я написалъ:

«Подательница письма та особа, о которой я писалъ. Самъ не могу быть: боленъ, нуждаюсь въ деньгахъ. Будьте добры, пришлите».

Жена вернулась черезъ часъ; вернулась бодрая, оживленная—довольная тѣмъ что видѣла Горькаго:

— Ну, лицеизрѣла знаменитаго Максима. Хотя ни обмѣнялись ни однимъ звукомъ. Его жена представила меня, онъ подалъ мнѣ руку, больше чѣмъ нужно посмотрѣлъ на меня, и ушелъ.

Я думаю надъ фразой «больше чѣмъ нужно», и машинально спрашиваю:

— А кто же деньги давалъ?

— Его жена. До того, какъ съ Горькимъ увидѣться, мы съ ней проболтали съ четверть часа. Спрашивала, какъ твое здоровье, гдѣ учусь, давно ли тебя знала. Я рассказывала и смѣялась, что плохой ты молодоженъ: то работаешь, то болѣешь.

Я ухватился за «молодожена».

«Теперь, значить, будетъ знать». Хорошо. Посмотримъ, правъ-ли я въ своихъ подозрѣніяхъ?

Черезъ недѣлю я отправился къ Горькому. Это было въ концѣ декабря. Всю эту недѣлю во мнѣ вспыхивали зловѣщія предчувствія, но поддаваться имъ вполнѣ въ присутствіи жены я не поддавался. Одинъ видъ ея давалъ мнѣ мужество не дѣлать преждевременныхъ заключеній.

Когда я вошелъ въ квартиру на меня сразу пахнуло недобрымъ: всюду безпорядокъ, сборы.

— Что это,—спрашиваю прислугу:—На другую квартиру перебираетесь?

— Нѣтъ. Уѣзжаемъ въ Петербургъ.

— А Алексѣй Максимовичъ?

— Онъ и Марья Федоровна уже уѣхали. Позавчера еще.

Я спросилъ адресъ. И пока записывалъ его—прислуга вспомнила:

— Да, вотъ кстати! Тутъ Алексѣй Максимовичъ велѣлъ доставить вамъ что-то.



Пошла и вернулась.

— Вотъ.

Развертываю и вижу... пьесу, которая *категорически обещана къ постановкѣ въ этомъ сезонѣ!*

Пьесу и при ней ни одной строки!

Я пошелъ домой и написалъ Горькому письмо, гдѣ просилъ разъяснить мнѣ о мотивахъ молчаливаго возраста пьесы.

Прошло болѣе недѣли—отвѣта не было.

Я послалъ повторное письмо, гдѣ сказалъ, что не вижу за собой такого поступка, когда единственно достойнымъ отвѣтомъ является молчаніе; что воля Горькаго на то, чтобы сдѣлать для меня что нибудь положительное, т. е. чтобы дало мнѣ возможность существовать и работать, а не быть въ томъ же положеніи, въ какомъ былъ до него, или не сдѣлать—но одно я вправѣ знать: за какую вину я становлюсь въ положеніе того зачумленного, вниманіе къ которому когда-то доходило «до фуфаяекъ», а теперь хотятъ обойти полнымъ молчаніемъ?

Отвѣта не было.

И вотъ тогда то у меня раскрылись глаза на мои зловѣщія предчувствія, когда я съ Горькимъ сходилъ; раскрылись на всѣ тѣ темныя страхи, когда меня заласкали «фуфайками».

Раскрылись глаза мои на мою *странную*, огромную любовь къ нему, на ту, что *жизнь выгорела себѣ ртутью на смерть*; на ту, что когда этотъ человѣкъ давалъ мнѣ иллюзіи на жизнь, а я ихъ не принималъ, чему смерть была

свидѣтель; на ту любовь, что толкнула меня на такую великую покорность: принять жизнь только потому, что онъ этого хотѣлъ!

Я обожествилъ человѣка постольку, поскольку его можно на землѣ обожествить.

Я любилъ его не только, какъ единицу, а какъ грезу, какъ тѣнь, какъ смутное очертаніе, какъ предчувствіе того прекраснаго, что таитъ въ себѣ молчаливая темь народа, но что помоему убѣжденію должно когда нибудь выявиться: я любилъ его, какъ творчество, таящееся въ корняхъ народа, какъ прообразъ того коллектива, единственно которому возможно осуществить «Царствіе Божіе на землѣ».

Я любилъ его, какъ надежду на совершенную грядущую жизнь.

А онъ, что онъ мнѣ далъ? Уподобился «буржую въ рясахъ»? Даже больше: трогательность «фуфаяекъ»—превратилась въ утонченную жестокость.

И за что?

За что брошенъ и обманутъ я? За что разбита такая прекрасная вѣра-любовь?

И то мнѣ казалось, что только за то, что я дерзнулъ пойти противъ того, что художникъ долженъ быть одинъ». Тогда я искалъ большихъ подтвержденій:

Читалъ Горькаго.

И получалось такое впечатлѣніе.

Горькій создалъ себѣ слишкомъ отвлеченныя,



слишкомъ узкія, жестокія представленія о человѣкѣ.

Но человѣкъ сотворенъ не по образу и подобию отвлеченныхъ представлений Горькаго.

Когда Горькій живетъ въ своихъ произведеніяхъ самъ—онъ живетъ комплексомъ присущихъ человѣку чувствъ, но когда онъ пишетъ о другихъ, то человѣка (по его понятіямъ) онъ непремѣнно хочетъ уложить въ рамки своихъ отвлеченностей. Новый творецъ, творецъ воспитывающій человѣчество по такому шаблону, по которому не можетъ жить самъ. Подошелъ, взглянулъ и открылъ: «Не люди, а черти лиловые; а кто такимъ быть не желаетъ—пожалуйте подъ мой ранжиръ: мои «человѣки» всѣ подъ одну скобочку острижены! Индивидуальности, говорите? Свобода духа? Чушь. Свободу духа я признаю только за собой».

Потомъ мысль, что виною моя женитьба, я отбрасывалъ: казались уже слишкомъ дико.

Но что же тогда, что?

Отвѣта не было.

Темная, неразъясненная жестокость оставалась тайной—давящей, ужасающей, гдѣ въ тысячу разъ легче было бы обвинить себя; но какъ обвинить, когда не видишь къ этому поводовъ?

Мнѣ былъ нанесенъ чудовищный по силѣ ударъ: поколебалась моя вѣра въ грядущее возрожденіе жизни. Поколебалась моя вѣра въ народъ, ибо откуда, кромѣ него ждать то свѣтлое чудо, ту силу, которая создастъ истинную жизнь?

Интеллигенція? И изъ этой среды есть *избранные*—но одинъ въ полѣ не воинъ. Злыхъ силъ—тѣма, но если и изъ народа будутъ выходить не добрые строители, а высокомерные фразеры, себялюбивое узколюбіе, то, какъ можно жить?

Такіе предтечи родятъ только страхъ.

Вѣдь, ужасъ современной жизни можно принять только какъ переходную стадію къ лучшей; не будь надежды на лучшую, кто изъ понимающихъ этотъ ужасъ найдетъ въ себѣ силы жить?

Никто. Бросить страшное. «Будьте [вы безконечно прокляты!»—и оборветъ свою жизнь.

Мнѣ былъ нанесенъ чудовищный по силѣ ударъ; ударъ, который могъ бы убить меня сразу, если бы... если бы около меня не было маленькой женщины!

Я переживалъ потрясеніе—такое душевное потрясеніе, которое переживается годами, только потому, что со мной переживала его маленькая женщина.

Ко мнѣ шло то ужасающее безуміе, когда человѣкъ чувствуетъ себя, что онъ на землѣ одинъ, и не раздавило меня, ибо маленькая женщина умѣла давать мнѣ чувствовать, что *насъ двое*, а по временамъ и зажигала во мнѣ порывъ,—короткій, скоропотухающій, но порывъ:

— О, мы еще поборемся!

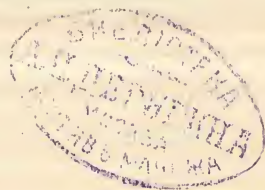
(Продолженіе въ книгѣ второй).



Р. S... Я прошу читателя не дѣлать скороспѣлыхъ заключеній о Горькомъ. *Долженъ сказать*, что изо всѣхъ людей, съ которыми я столкнулся въ литературѣ и внѣ ея—изо всѣхъ этихъ людей Горькій одинъ изъ лучшихъ. Правда, онъ меня бросилъ, какъ и многіе другіе, но изо всѣхъ этихъ многихъ онъ мнѣ и помогъ и научилъ меня больше, чѣмъ кто либо.

Если, читатель, вамъ кажется, что я осуждаю—это будетъ заблужденіемъ: я рассказываю исторію своей души такъ, какъ она реагировала. И для читателя полезно здѣсь только то: принять во вниманіе вообще душу человѣка, т. е. быть къ загнаннымъ жизнью почеловѣчиѣ.

А осуждать? Осуждать, читатель, погодите, ибо сказано: «Лицемѣры! вынь прежде бревно изъ своего глаза, и тогда увидишь, какъ вынуть сучекъ изъ глаза брата твоего».



## II. Отдѣлъ художественной критики.

Фридрихъ Куммеръ. О смѣнѣ литературныхъ поколѣній и литературн. кумировъ. Перев. подъ ред. и съ предисл. П. С. Когана. Ц. 25 коп.

В. М. Фриче. Отъ Чернышевскаго къ «Вѣхамъ». Цѣна 40 коп.

В. М. Фриче. Торжество пола и гибель цивилизаціи. (По поводу книги Вейнингера «Полъ и характеръ»). Цѣна 55 коп.

Людвигъ Зерингъ. Метерлинкъ, какъ философъ и поэтъ. Цѣна 60 коп.

Метерлинкъ, какъ философъ внутренней жизни.—Міросозерцаніе Метерлинка.—Стихотворенія и первая драмы.—Драмы философа жизни.—Метерлинкъ, какъ теоретикъ искусства.

Книга Зеринга прочтется съ большимъ интересомъ русскими поклонниками Метерлинка, тѣмъ болѣе, что наша критическая литература о немъ совсѣмъ не велика.

(«Одесское Обозрѣніе»).

Гальфданъ Лангаардъ. Оскаръ Уайльдъ. Его жизнь и литературная дѣятельность. 2-ое изданіе. Цѣна 40 коп.

Предлагаемая книга стремится дать возможно болѣе полное изображеніе захватывающей по своей трагичности жизненной судьбы Оскара Уайльда. До сихъ поръ въ литературѣ нѣтъ всеобъемлющей картины личности поэта во всемъ его величій и слабости, и эта книга вызоветъ, несомнѣнно, къ нему интересъ во всѣхъ слояхъ нашего общества.

Германъ Эссвейнъ. Августъ Стриндбергъ. Опытъ психологической характеристики. Ц. 40 к.

Критическій очеркъ Эссвейна можетъ быть прочитанъ съ пользою всѣми, кто интересуется эволюціей творчества Стриндберга.

(«Русскія Вѣдомости»).



**Августъ Стриндбергъ.**

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ.

При близж. уч. М. и Е. Благовѣщенскихъ, Зин. Венгеровой, Ю. А. Веселовскаго и В. М. Фриче.

**Густавъ афъ-Гейерстамъ.**

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ.

При ближайшемъ участіи М. и Е. Благовѣщенскихъ и Ю. А. Веселовскаго.

**Бьернъ-Бьернсонъ.**

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ.

При ближайшемъ участіи М. и Е. Благовѣщенскихъ Ю. А. Веселовскаго и А. и П. Ганзенъ.

**Бернаръ-Шоу.**

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ.

**Генрихъ Маннъ.**

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ.

При близж. участіи Виктора Гофмана и В. М. Фриче.

**Томасъ Маннъ.**

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ.

**Шоломъ Алейхемъ.**

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ.

Авторизованный переводъ.

**Жоржъ Экоутъ.**

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ.

Авторизованный переводъ.

**Марія Конопницкая.**

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ.

Авторизованный переводъ.

**Владиславъ Реймонтъ.**

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ.

Авторизованный переводъ.

**Германъ Бангъ.**

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ.

**Томасъ Гарди.**

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ.

**Бласко Ибаньесъ.**

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ.

При ближайшемъ участіи З. Венгеровой, М. Ватсонъ В. М. Шулятикова и др.